Егор Ралович



Последний паром через Лету

Егор Ралович

Последний паром через Лету

«Автор»
2026

Ралович Е.

Последний паром через Лету / Е. Ралович — «Автор», 2026

Онисим перевозит мёртвых через Лету триста лет. Каждый пассажир платит одним воспоминанием и на середине реки пьёт воду забвения. Но однажды на корме парома Онисим находит спящую женщину, которая дышит.Ульяна, медсестра хосписа из Тотьмы, не помнит, как попала на паром. Пока живая на борту, паром не доходит до дальнего берега, мёртвые на Прибрежье волнуются, а её тело в больнице с каждой ночью остывает. Вернуться можно только той дорогой, которой пришла, но это воспоминание Ульяна отдала в плату, и его украли.Вместе с молчаливым перевозчиком и мальчишкой Фролкой, который сто лет ждёт на пароме свою мать, Ульяна ищет украденную памятку на острове тех, кто отказался пить воду. Ей придётся решить, хочет ли она назад, в жизнь, где два года назад похоронила сына. А Онисиму – вспомнить, как он сам когда-то оказался на этой реке.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Тихая вода 5
Глава 2. Живая 11
Глава 3. Прибрежье 17
Глава 4. Короб 23
Глава 5. Сын 29
Глава 6. Ожидающие 35
Глава 7. Ковш 41
Глава 8. Остров в тумане 47
Глава 9. Что помнит перевозчик 53
Глава 10. Фролка 59
Конец ознакомительного фрагмента. 62

Егор Ралович
Последний паром через Лету

Глава 1. Тихая вода

Туман на Лете поднимался всегда в одно и то же время, хотя времени здесь не было. Онисим чувствовал его так, как при жизни чувствовал приближение дождя: ломило в левом плече, тяжелели веки, и в воздухе появлялся запах мокрой золы. Тогда он вставал с лавки у будки, брал шест и шёл на нос парома смотреть, как серая вода становится ещё серее.

Паром назывался «Тихоня». Название вырезал на поперечной доске кто-то до Онисима, ножом, неровными буквами, и за триста лет буквы так затёрлись ладонями, что их можно было прочесть только пальцами. Онисим и читал пальцами. Каждый раз, отваливая от пристани, он проводил рукой по доске: «Т», «и», «х». Это была не примета и не молитва. Просто так он начинал переправу.

– Дядька Онисим, – позвал с кормы Фролка. – Идут.

По отмели Прибрежья к пристани шли люди. Шли они так, как ходят все мёртвые в первые дни: медленно, глядя под ноги, будто боялись наступить на что-то хрупкое. Кто-то держался за соседа. Кто-то нёс в руках вещь, с которой не смог расстаться: сумку, шапку, детскую варежку. Вещи здесь были ненастоящие, и к середине реки они таяли, но никто про это не знал, а Онисим не говорил.

Он насчитал девятерых. Для одной переправы это было обычно. Бывали дни, когда шли сотнями, и тогда «Тихоня» оседала по самые борта, и Онисим ходил туда и обратно без отдыха, пока руки не переставали чувствовать шест. Бывали дни, когда не приходил никто, и он сидел на лавке, смотрел в туман и ни о чём не думал. Думать было почти не о чем.

– Встречай, – сказал он Фролке.

Мальчик спрыгнул с борта на мостки. Босой, в штанах до щиколоток и в рубахе, подпоясанной верёвкой, он выглядел так же, как в тот день, когда пришёл сюда: двенадцать лет, белые вихры, оттопыренные уши. Лёд, который сломался под ним на Сухоне весной тысяча девятьсот двенадцатого года, оставил ему только одну отметину: Фролка никогда не мёрз. Здесь вообще никто не мёрз, но остальные хотя бы помнили холод, а Фролка будто и не знал, что это такое.

– Сюда, сюда, тётенька, – говорил он, подавая руку старухе в пуховом платке. – Тут доска шатается, вы наступайте вот здесь. Дяденька, а вы сумку не бросайте, она вам ещё пригодится.

Сумка не пригодится, подумал Онисим, но промолчал. Фролка умел разговаривать с новенькими лучше, чем он. Онисим и при жизни был не из говорливых, а за триста лет на реке слова у него стёрлись, как буквы на доске.

На пароме у будки стоял короб. Простой, из потемневших досок, с узкой щелью в крышке, какие бывают у церковных кружек. Мёртвые проходили мимо короба по одному, и Онисим каждому говорил одни и те же слова:

– Плата.

Новенькие не понимали. Кто-то начинал шарить по карманам в поисках денег. Кто-то пугался и спрашивал, сколько. Кто-то, наоборот, понимал слишком быстро и начинал торговаться. Онисим всегда объяснял одинаково:

– Одно воспоминание. Какое отдадите, такое и возьму. Только сами, своей волей.

– А как же… – спросила старуха в платке. – Как его отдать-то?

– Вспомните и положите руку на крышку. Оно само уйдёт.

Старуха постояла, пошевелила губами и положила на короб сухую ладонь. Онисим услышал, как внутри негромко стукнуло, будто в коробку уронили камешек. Старуха вздрогнула и отдёрнула руку.

– Ой, – сказала она растерянно. – А что я сейчас вспоминала?

– Не знаю, – честно ответил Онисим. – Проходите.

Это была правда. Он никогда не знал, что ему платят. Памятки он видел только потом, в Кладовой, где раскладывал их по полкам, и, если не брать их в руки, они были просто тёплыми гладкими камешками разного цвета. Одни отливали медью, другие были серыми, третьи почти прозрачными, как лёд на лужах. Брать их в руки Онисим себе давно запретил. В первые годы он брал и проживал чужие жизни по кусочку: чью-то свадьбу, чьи-то роды, чей-то последний разговор с отцом. Потом понял, что так можно стать сумасшедшим. Чужие воспоминания цеплялись за пустоту, где должны были быть его собственные, и заполняли её. Он перестал понимать, кто он. С тех пор памятки он только раскладывал.

Мужчина с сумкой положил руку на короб и долго держал её. Ничего не стукнуло.

– Не берёт, – сказал он с обидой. – Почему не берёт?

– Вы не то отдаёте, – сказал Онисим. – Вы отдаёте то, что вам не жалко. Так не бывает.

– Это вы не берёте.

– Не я. Короб.

Мужчина зло посмотрел на него, потом на короб, потом закрыл глаза. Стукнуло. Он открыл глаза, и злость ушла из лица, будто её вытерли тряпкой. Он молча прошёл к борту и сел, обняв сумку.

Последней шла девушка лет двадцати, в светлом платье и почему-то в одной туфле. Она остановилась у короба и спросила:

– А это больно?

– Нет.

– А если я отдам, я пойму, что отдала?

– Нет. Будет казаться, что так и было.

Девушка кивнула и положила руку на крышку сразу, не думая. Стукнуло. Она улыбнулась непонятно чему и прошла к остальным.

Фролка втащил на борт мостки, Онисим упёр шест в илистое дно и оттолкнулся. Паром отошёл от пристани без звука. Здесь всё было без звука: вода не плескала, доски не скрипели, даже собственные шаги были как будто чуть-чуть за ватой. Онисим давно привык. Иногда ему казалось, что он помнит звук топора, звон колокола, скрип уключин, но это могли быть и чужие воспоминания, налипшие на него в первые годы.

Прибрежье медленно уходило в туман. Сначала пропали избы ожидающих, серые, без окон, похожие на поставленные стоймя гробы. Потом пропала пристань. Потом осталась только полоса отмели, а потом и она ушла, и вокруг была одна вода: ровная, неподвижная, цвета пепла.

Мёртвые сидели вдоль бортов. Кто-то тихо плакал. Мужчина с сумкой смотрел в одну точку. Старуха в платке шептала, наверное, молитву, только слов было не разобрать. Онисим работал шестом, переставляя его неторопливо, с выдохом, как когда-то на своей реке. Дна здесь почти не было, шест уходил в воду на всю длину и упирался во что-то мягкое, как в слежавшийся пепел. Но паром шёл.

– Дядька, – шёпотом сказал Фролка, подойдя к нему. – А у нас сегодня не девять.

– Девять.

– Я тоже считал. Девять сели, а на корме ещё кто-то лежит.

Онисим не обернулся.

– Значит, ты обсчитался.

– Нет, правда. Там, за будкой, у бухты каната. Тётенька. Спит.

– Мёртвые не спят.

Фролка шмыгнул носом. Он делал так, когда хотел сказать что-то важное и боялся, что его не послушают.

– Так я и говорю.

Онисим перехватил шест, упёр его поглубже и сказал:

– Держи.

Фролка взялся за шест обеими руками. Он умел держать паром на месте, хотя толкать его не мог: ему не хватало веса. Онисим вытер ладони о штаны и пошёл на корму.

За будкой, там, где лежала бухта старого каната, никому не нужного и неизвестно зачем хранимого, действительно кто-то был. Женщина. Она лежала на боку, подтянув колени к животу, лицом к доскам, и одна рука у неё свешивалась с края бухты. На ней была тёмная куртка, мокрая насквозь, джинсы, тоже мокрые, и кроссовки без шнурков. Волосы, тёмные, коротко остриженные, прилипли к шее.

Онисим остановился в двух шагах от неё и долго смотрел.

Он видел мёртвых сотни тысяч, может быть, миллионы. Он знал, как они лежат, когда приходят на отмель в самом начале, ещё не поняв, что умерли. Знал, как сидят, как плачут, как молчат. Эта женщина лежала иначе. Сначала он не понял, в чём разница. Потом понял.

Её плечо поднималось и опускалось.

Онисим присел на корточки. Медленно, будто боялся спугнуть птицу, протянул руку и тронул её запястье. Кожа была холодная, мокрая, но под кожей, глубоко, едва-едва, что-то толкалось. Раз. Пауза. Ещё раз.

Он отдёрнул руку так, словно обжёгся.

– Дядька, – позвал Фролка. – Что там?

Онисим не ответил. Он смотрел на свою ладонь. На ладони остался мокрый след, и этот след был тёплый. Чуть-чуть, на самой грани, но тёплый. Здесь ничего не бывало тёплым, кроме памяток в Кладовой.

Он поднялся и огляделся. Мёртвые на пароме ничего не заметили: они сидели вдоль бортов, каждый со своим горем. Туман вокруг был обычный, ровный, цвета волчьей шерсти. Вода была обычная. Только…

Только паром не шёл.

Онисим понял это не сразу. Фролка держал шест, «Тихоня» стояла на месте, это было правильно. Но и туман вокруг стоял, а должен был медленно ползти назад, к Прибрежью, потому что вода в Лете всё-таки течёт, хоть и почти незаметно. Онисим знал это течение, как знают собственное дыхание. Течения не было.

Он вернулся на нос, забрал у Фролки шест и упёр его в дно. Толкнул. Шест ушёл в мягкое, паром качнулся и остался на месте. Онисим толкнул ещё раз, сильнее, с выдохом, так, что заныла спина. Паром не сдвинулся. Будто его держали снизу.

– Дядька, – совсем тихо сказал Фролка. – Это что?

– Не знаю.

Это была вторая за день правда, и она была страшнее первой.

Мёртвые начали оборачиваться. Сначала старуха в платке, потом мужчина с сумкой, потом девушка в одной туфле. Они ещё не понимали, что не так, но чувствовали. Мёртвые вообще чувствуют больше, чем живые, только сказать не могут.

– Мы что, стоим? – спросил мужчина с сумкой. – Почему мы стоим?

– Сидите, – сказал Онисим. – Сейчас пойдём.

Он отложил шест, пошёл к будке и снял с крюка ковш. Ковш был деревянный, тёмный, с длинной ручкой, отполированной до блеска. Обычно Онисим брал его только на середине реки, когда туман впереди начинал светлеть. Сейчас середины не было видно, но, может быть, они уже дошли до неё, а он не заметил. Может быть, всё дело в этом.

Он подошёл к борту, зачерпнул воды и обернулся к мёртвым.

– Пейте, – сказал он. – По глотку. Кто выпьет, тот увидит берег.

Это была самая важная часть переправы, и он всегда говорил одни и те же слова. Не потому что так было положено, а потому что других слов не знал. Мёртвые подходили к ковшу по одному. Кто-то пил сразу, жадно, как пьют после долгой жары. Кто-то долго смотрел на воду, будто пытался в ней что-то разглядеть. Кто-то спрашивал, что будет, и Онисим отвечал: «Станет легко». Это тоже была правда. Он видел их лица после ковша. Лица становились легкими, будто с них сняли не горе даже, а саму необходимость что-то чувствовать. Потом впереди светлело, и проступал дальний берег, которого Онисим никогда не видел толком, только как полосу света в тумане, и паром сам, без шеста, шёл к этой полосе, и мёртвые сходили на неё и исчезали.

Первой подошла старуха в платке. Она отпила, вздохнула и сказала:

– Ох, хорошо.

Потом девушка в одной туфле. Потом остальные. Мужчина с сумкой пил последним, долго держал ковш у губ, потом отдал его Онисиму и сказал не своим уже, а лёгким голосом:

– Спасибо.

Онисим ждал, что впереди посветлеет.

Впереди не светлело.

Мёртвые, выпившие воду, сидели вдоль бортов с лёгкими, пустыми лицами и смотрели в туман. Им было не страшно, им уже никогда не будет страшно. А Онисиму было. Он стоял с ковшом в руке, с которого капала серая вода, и чувствовал, как внутри поднимается что-то давно забытое, холодное и липкое. Он не сразу вспомнил, как это называется. Потом вспомнил. Страх. Не тот, что бывает за себя, а тот, что бывает, когда ты отвечаешь за других и не знаешь, что делать.

Триста лет он знал, что делать.

– Фролка, – сказал он. – Иди на корму. Смотри за ней.

– За кем?

– За той, что спит. Если проснётся, позовёшь меня. Ничего ей не говори.

Фролка кивнул и убежал. Онисим повесил ковш обратно на крюк и вернулся к шесту. Он уже понимал, что паром не пойдёт к дальнему берегу, но не мог стоять без дела. Он упёр шест и толкнул назад, к Прибрежью.

Паром пошёл.

Легко, будто его отпустили. Туман снова пополз мимо, медленно, как и положено. Онисим толкал и толкал, и с каждым толчком внутри него крепла простая и страшная мысль: туда, вперёд, река их не пускает, а назад пускает. Река его не пускает. Или не его.

Мёртвые, выпившие воду, ничего не заметили. Им было всё равно, куда плыть.

Через какое-то время, Онисим не знал какое, из тумана проступила отмель, потом пристань, потом серые избы. На пристани стояли новые мёртвые, ждали своей очереди. Увидев, что паром возвращается полный, они зашевелились. Кто-то подался вперёд. Кто-то, наоборот, отступил.

Онисим подогнал паром к мосткам, бросил на сваю петлю верёвки и выпрямился. Спина болела так, как не болела уже очень давно. Он постоял, переводя дыхание, которого у него, если подумать, не было, и пошёл на корму.

Фролка сидел на корточках рядом с бухтой каната и смотрел на женщину. Женщина всё так же лежала на боку и дышала. Теперь, когда Онисим знал, что искать, он видел это совсем ясно: ровное, медленное, тяжёлое дыхание очень уставшего человека. От её мокрой куртки поднимался едва заметный пар.

– Она тёплая, – сказал Фролка, не оборачиваясь. – Дядька, она тёплая. Я потрогал. Ты не сердись. Я только палец положил.

– Не сержусь.

– Она живая, да?

Онисим помолчал.

– Да.

– А живые разве бывают тут?

– Нет.

Фролка обернулся. Лицо у него было испуганное и одновременно какое-то праздничное, как у ребёнка, которому показали что-то запретное.

– А что с ней будет?

– Не знаю.

Он присел рядом с мальчиком. Вблизи он разглядел женщину лучше. Ей было за тридцать. Лицо худое, скуластое, с тёмными кругами под глазами. Губы синие от холода. На правой руке, на запястье, был затянут тонкий шнурок, а на шнурке висела маленькая деревянная лошадка, детская, неумело вырезанная, с одним ухом. Пальцы левой руки были сжаты в кулак, и из кулака торчал край чего-то металлического.

Онисим осторожно разжал её пальцы. На ладони лежала монета. Старая, медная, позеленевшая. Он такие видел. Давно.

Он не стал брать монету. Он закрыл пальцы женщины обратно и отпустил её руку.

– Дядька, – прошептал Фролка, – а ты знаешь, как её зовут?

– Нет.

– А почему она не просыпается?

– Не знаю.

Это был уже четвёртый «не знаю» за одну переправу, и Онисим вдруг понял, что за все триста лет не говорил их столько вместе. Здесь, на реке, всё было известно. Мёртвые приходили, платили, пили, уходили. Паром шёл туда и обратно. Туман поднимался и опускался. Ничто не менялось, и Онисим давно перестал задавать себе вопросы, потому что ответы на все вопросы были одинаковы: так было и так будет.

А сейчас на его пароме лежала живая женщина с деревянной лошадкой на запястье и медной монетой в кулаке. И паром из-за неё не мог дойти до того берега.

– Пойди к Старице, – сказал он Фролке. – Скажи, что я прошу её прийти.

– Сюда? Она же никогда не приходит.

– Скажи, что живая на пароме. Придёт.

Фролка вскочил и убежал по мосткам. Онисим остался сидеть возле женщины. Он смотрел, как поднимается и опускается её плечо, и думал о том, что ему нечего ей сказать, когда она проснётся. Он не знал слов, которые говорят живым. Мёртвым он говорил «плата», «пейте», «проходите». Живым такое не говорят.

Он думал и о монете. Медь, позеленевшая от воды, со стёртым орлом. Такими когда-то платили за перевоз на живых реках, и Онисим помнил это не умом, а пальцами: тяжесть медяка на ладони, шершавый край, тёплый от чужого кармана. Откуда он это помнил, если не помнил ничего из своей жизни? Может быть, тоже налипло от памяток. А может быть, это было его, настоящее, уцелевшее в той пустоте, где у других людей хранится детство, дом, лица близких.

Здесь, на Лете, монетами не платили никогда. Река брала только то, что нельзя положить в карман. И всё-таки женщина держала медяк так крепко, словно от него зависела её жизнь. Словно кто-то сказал ей: держи и не выпускай, иначе не довезут.

Кто мог ей такое сказать? Живым про реку не рассказывают. Живые про неё не знают, а если и догадываются, то путают с чем-то из книжек. Онисим посмотрел на её посиневшие пальцы, на лошадку с одним ухом и почувствовал, что разгадка, какой бы она ни была, ему не понравится.

С носа парома тихо донёсся голос мужчины с сумкой, лёгкий, ровный:

– А мы ещё поплывём?

– Поплывём, – ответил Онисим, не оборачиваясь.

– Хорошо, – сказал мужчина. – Тут тихо.

Тут было тихо. Тише, чем когда-либо за триста лет. Онисим вдруг услышал, что в этой тишине есть звук, которого раньше не было: дыхание. Чужое, живое, неровное дыхание. Вдох. Выдох. Вдох.

Женщина пошевелилась. Её свешенная рука дрогнула, пальцы на ладони сжались крепче. Губы разомкнулись, и она произнесла, не открывая глаз, хрипло и очень тихо, одно слово:

– Гриша.

Потом снова затихла.

Онисим сидел рядом и не двигался, пока по мосткам не застучали лёгкие шаги Фролки и пока за ними, далеко позади, из тумана не стал проступать высокий серый силуэт, похожий на столб дыма, у которого есть плечи.

Глава 2. Живая

Ульяна проснулась от холода.

Сначала холод был где-то далеко, как шум за стеной. Потом приблизился, вошёл в пальцы ног, в колени, в живот, и она поняла, что лежит в мокрой одежде на чём-то твёрдом и что ей так холодно, как не было никогда в жизни. Даже в ту зиму, когда в хосписе на две недели отключили отопление и они с Любой ходили по палатам в пуховиках и носили подопечным грелки, даже тогда не было так.

Она открыла глаза и увидела доски.

Серые, старые, с тёмными щелями. Между досками блестела вода. Ульяна смотрела на эти доски и не понимала, где она. Мысли были медленные, как рыбы подо льдом. Доски. Вода. Холод. Канат под щекой, жёсткий, пахнущий тиной.

Она попыталась сесть и не смогла. Тело не слушалось. Руки были чужие, тяжёлые, как налитые свинцом. Она попробовала ещё раз, упёрлась ладонью в доски, и что-то выпало из её кулака и звякнуло.

Монета. Медная, позеленевшая.

Ульяна смотрела на монету и вдруг почувствовала, что не может вспомнить, откуда она. Это было странно и страшно, как когда просыпаешься в чужой квартире и долго не можешь понять, как здесь оказалась. Только тут всё было хуже. Она вообще не помнила, как засыпала.

– Тётенька, – сказал кто-то рядом. – Вы не бойтесь.

Она повернула голову. Рядом на корточках сидел мальчишка: белобрысый, лопоухий, в рубахе, подпоясанной верёвкой, и в коротких штанах. Босой. Ульяна посмотрела на его босые ноги на мокрых досках, и почему-то именно это показалось ей самым неправильным во всём.

– Тебе не холодно? – хрипло спросила она.

Мальчишка удивился.

– Мне? Нет. А вам холодно?

– Очень.

– Это потому что вы живая, – сказал мальчишка так, будто объяснял, почему вода мокрая. – Дядька Онисим сказал, что вы живая.

Ульяна закрыла глаза и снова открыла. Мальчишка не исчез.

– Где я?

– На «Тихоне».

– На чём?

– На пароме. Вот же. – Он похлопал ладонью по доскам. – Это паром.

Она наконец смогла сесть. Голова закружилась, и несколько мгновений Ульяна просто сидела, держась за бухту каната, пока мир не перестал качаться. Потом огляделась.

Паром был большой, деревянный, с низкими бортами и будкой посередине, крытой почерневшим тёсом. Вокруг была вода, серая и неподвижная, а над водой стоял туман. Таких туманов Ульяна не видела никогда. Он был плотный, как вата, и при этом совершенно ровный, без клочьев и завихрений, и цвет у него был один и тот же сверху донизу: цвет старой седины. Впереди, совсем рядом, из тумана выступали деревянные мостки, а за ними серая отмель и какие-то серые постройки, похожие на сараи без окон.

На носу парома сидели люди. Человек десять, вдоль бортов, неподвижно. Старуха в пуховом платке, мужчина в куртке с сумкой на коленях, девушка в светлом платье. Они смотрели в туман и не обращали на Ульяну никакого внимания.

– Это кто? – спросила она шёпотом.

– Это наши, – сказал мальчишка. – Выпившие. Вы на них не смотрите, им всё равно.

– Что значит выпившие?

– Ну, воду выпили. Из ковша.

Ульяна посмотрела на мальчика. Ей пришло в голову, что она, наверное, бредит. Это объясняло бы всё: холод, туман, паром, босого ребёнка, который говорит непонятные вещи. Она медсестра, она знает, как бывает при сильном переохлаждении. Спутанность, галлюцинации, иногда люди начинают раздеваться, потому что им кажется, что жарко. Значит, она переохладилась. Значит, где-то лежит без сознания. Значит…

Мысль оборвалась. Где лежит? Почему?

Она попыталась вспомнить вчерашний день, и это получилось легко. Вчера была смена. Утром Ермолай Петрович в четвёртой палате, который уже три дня не открывал глаз, вдруг открыл их и долго смотрел на неё, а потом закрыл, и к обеду его не стало. Она сидела с ним до конца. Потом оформляла бумаги, потом звонила его дочери в Вологду, дочь плакала в трубку и говорила, что не успеет до завтра. Потом Ульяна пришла домой, в пустую квартиру на Кооперативной, поставила чайник и…

И дальше было пусто.

Не темно, не смутно, а именно пусто, будто кто-то вырезал кусок из ленты и склеил концы. Она стояла у плиты, чайник начинал шуметь, а потом она лежит на мокрых досках и смотрит на босые ноги мальчишки.

– Я не помню, – сказала она вслух. – Я не помню, как сюда попала.

– Вот и дядька говорит, что так не бывает, – сказал мальчишка. – Все помнят, а вы не помните.

– Какой дядька?

– Вон.

Ульяна обернулась.

У будки стоял мужчина. Высокий, широкий в плечах, в длинной рубахе навыпуск, тоже подпоясанной, и в штанах, заправленных в какие-то обмотки. Борода у него была тёмная, короткая, будто подрубленная ножом, и волосы тоже тёмные, стриженные в кружок. Лицо обветренное, с глубокими складками у рта, и глаза под тяжёлыми бровями такие же серые, как туман. Он стоял неподвижно и смотрел на неё, и в руке у него был длинный шест.

Ульяна не испугалась. Это её саму удивило. Мужчина выглядел так, будто сошёл с картинки в учебнике истории, и по всем правилам должен был её напугать. Но в его неподвижности не было угрозы. Он стоял так, как стоят у постели больного: не зная, что сказать, и боясь сделать хуже.

– Вы кто? – спросила она.

Он помолчал. Потом сказал коротко, с непривычным окающим выговором:

– Перевозчик.

– Перевозчик куда?

Он снова помолчал, и Ульяна вдруг поняла, что он не знает, как ответить. Не скрывает, а просто подбирает слова и не находит.

– На тот берег, – сказал он наконец.

Слова упали в тишину, как камни в воду, и Ульяна услышала, как они идут ко дну. На тот берег. Туман. Паром. Люди на носу, выпившие воду. Мальчишка, которому не холодно.

– Я умерла? – спросила она.

– Нет.

Он сказал это сразу, без паузы, и от этой поспешности ей стало ещё страшнее.

– Тогда что это?

– Река.

– Какая?

Он посмотрел на неё долгим взглядом, будто прикидывал, выдержит ли она ответ. Потом сказал:

– Лета.

Ульяна засмеялась. Смех вышел хриплый, короткий, и от него заболело в груди.

– Лета, – повторила она. – Ну конечно. Лета. А вы, значит, Харон. А это ваш, как его, ладья. Вы бы мне ещё Цербера показали.

– Кого?

– Пса. Трёхголового.

– Псов тут нет, – серьёзно сказал перевозчик. – И зовут меня Онисим.

Она перестала смеяться. Он не шутил. Он вообще, кажется, не умел шутить. И он не знал, кто такой Харон. Ульяна смотрела на его лицо, на складки у рта, на руки, крупные, с мозолями, обхватившие шест, и чувствовала, как в ней поднимается паника, которую она весь этот разговор держала за горло.

– Отвезите меня обратно, – сказала она. – Пожалуйста. Я не знаю, как я сюда попала, но мне нужно обратно. У меня завтра смена. У меня дочь Ермолая Петровича приедет, мне надо ей вещи отдать. Пожалуйста.

– Обратно не умею, – сказал Онисим.

– Как это не умеете?

– Отсюда возят только туда. – Он мотнул головой в туман, в сторону от отмели. – Обратно никто не ходит.

– Но я же не мёртвая!

– Нет.

– Так отвезите!

Она вскочила. Ноги подкосились, и она упала бы, если бы мальчишка не подставил плечо. Плечо у него было лёгкое, почти невесомое, и холодное, но держало. Ульяна вцепилась в него и стояла, тяжело дыша. Пар шёл у неё изо рта, а у мальчишки не шёл. И у Онисима не шёл. И у людей на носу.

Ульяна смотрела на этот пар, на свой собственный пар, единственный здесь, и вдруг поняла всё сразу, без слов, как понимала иногда у постели подопечного, что он умрёт сегодня, хотя ещё ничто на это не указывало. Она здесь одна живая. Все остальные нет. И мальчишка нет. И перевозчик.

– Простите, – тихо сказала она мальчику. – Я тебя придавила.

– Ничего, – сказал он. – Меня Фролкой зовут.

– Ульяна.

– Красиво, – сказал Фролка. – У нас в деревне была Ульяна, просвирня. Только старая.

Она отпустила плечо Фролки и, сама не зная зачем, пошла к носу парома, к сидящим вдоль бортов людям. Ей нужно было убедиться. Она всю жизнь проверяла: пульс, дыхание, зрачки. Если она сейчас посмотрит им в лица и увидит обычных людей, значит, всё это какая-то ошибка, какой-то спектакль, чья-то жестокая шутка.

Старуха в пуховом платке сидела ближе всех. Ульяна присела перед ней на корточки.

– Бабушка, – позвала она. – Бабушка, вы меня слышите?

Старуха перевела на неё взгляд. Глаза у неё были светлые, водянистые и совершенно спокойные. Не равнодушные, нет. Равнодушие Ульяна видела часто, у тех, кто долго болел и устал. Здесь было другое. Так смотрит младенец, который только что наелся и сейчас уснёт.

– Слышу, деточка, – ласково сказала старуха.

– Как вас зовут?

Старуха подумала. Пошевелила губами. Улыбнулась.

– А не знаю, – сказала она без всякой тревоги. – Было как-то. А зачем тебе?

– А откуда вы? Где вы жили?

– Жила, – согласилась старуха. – Хорошо жила. Где-то.

– У вас дети есть?

– Может, и есть, – сказала старуха и снова улыбнулась. – Тут тихо, деточка. Ты посиди. Тут хорошо.

Ульяна встала. Ноги дрожали. Она отходила от старухи спиной вперёд, как отходят от края обрыва, и смотрела на остальных: на мужчину с сумкой, на девушку в одной туфле. У всех были одинаковые лица, лёгкие и пустые, как вымытые миски. Ни один не спросил, кто она такая, хотя она была мокрая, дрожащая и вся в пару. Им было не интересно. Им уже ничего не было интересно.

– Что вы с ними сделали? – спросила она, вернувшись к будке.

– Ничего, – сказал Онисим. – Они воду выпили. Так надо.

– Они себя не помнят.

– Так надо, – повторил он. – Кто помнит, тот не дойдёт.

Онисим отставил шест и подошёл ближе. Остановился в двух шагах, будто между ними была невидимая черта.

– Мы плыли на тот берег, – сказал он медленно, словно каждое слово надо было вытаскивать из воды. – Обычно. Как всегда. Вы лежали тут, на корме. Я не видел, как вы пришли. Никто не видел. На середине мы встали. Паром не пошёл дальше. Первый раз так.

– Из-за меня?

– Думаю, да.

– Почему?

– Вода живых не держит. Не пускает. Так говорят. Я не знаю. Живых тут не было.

– Никогда?

Онисим долго молчал. Ульяна видела, что он хочет ответить честно и не может, потому что не знает ответа.

– При мне не было, – сказал он наконец. – А я тут давно.

– Давно – это сколько?

– Лет триста.

Она снова засмеялась бы, но смеха не осталось. Ульяна села на бухту каната, обхватила себя руками и попыталась унять дрожь. Не получилось. Мокрая куртка липла к телу, холод из неё уходил внутрь, глубже, к сердцу.

– Мне надо переодеться, – сказала она. – Я так долго не протяну. У меня переохлаждение. Мне нужно сухое и тёплое. Чай. Хотя бы одеяло.

Онисим и Фролка переглянулись.

– Одеяла нету, – сказал Фролка виновато. – Тут никому не надо.

– Хоть что-нибудь.

Онисим молча ушёл в будку. Было слышно, как он что-то двигает внутри. Потом он вышел с чем-то тёмным и тяжёлым в руках и протянул ей. Это был армяк, длинный, грубого сукна, пахнущий пылью и тиной.

– Мой, – сказал он. – Старый. С тех пор лежит.

– С каких тех?

– Не помню.

Ульяна стянула мокрую куртку. Под курткой был свитер, тоже мокрый. Она стянула и свитер, оставшись в майке, и, не думая о том, что на неё смотрят, закуталась в армяк. Сукно было жёсткое, колючее, но сухое. Через минуту ей стало чуть-чуть теплее. Совсем немного. Но это было уже что-то.

Онисим отвернулся, пока она переодевалась. Фролка не отвернулся, но смотрел не на неё, а на её свитер, лежащий на досках.

– От него пар идёт, – сказал он. – Смотрите, дядька. Пар.

– Вижу.

Она машинально похлопала себя по карманам джинсов. Телефона не было. Ключей от квартиры тоже. В заднем кармане нашлась только смятая мокрая бумажка, и, развернув её, Ульяна узнала собственный почерк: список покупок. Хлеб, молоко, батарейки для тонометра. Она смотрела на этот список, на расплывшиеся от воды буквы, и не могла поверить, что ещё вчера её беспокоили батарейки для тонометра. Бумажка была единственным, что связывало её с тем миром, и она аккуратно сложила её вчетверо и убрала обратно в карман, будто это был документ.

Ульяна посмотрела на свои руки. Пальцы были белые, ногти синие. Она сжала и разжала кулак. Пальцы слушались плохо. На запястье правой руки висела лошадка на шнурке, и Ульяна машинально взялась за неё, как бралась тысячу раз за последние два года, когда становилось совсем невмоготу.

Лошадка была деревянная, с одним ухом. Второе ухо Гриша отрезал случайно, когда вырезал её на уроке труда во втором классе, в последнюю свою весну. Он принёс её из школы, расстроенный, и сказал: «Мам, я ухо испортил». А она сказала: «Это ничего. Значит, она будет слушать только одним ухом, самое главное». И Гриша засмеялся.

Ульяна держала лошадку и вдруг вспомнила, что кричала во сне. Она не знала, откуда это знает, но знала.

– Я что-нибудь говорила? – спросила она. – Пока спала?

Онисим обернулся.

– Одно слово.

– Какое?

– Гриша.

Она кивнула. Ну конечно. Что ещё она могла сказать.

– Это сын, – сказала она. – Мой сын. Он умер. Два года назад.

Онисим ничего не ответил. Фролка тоже. Ульяна смотрела на туман и думала, что, если это всё-таки бред, то бред очень последовательный. В бреду ведь не бывает так, чтобы босой мальчишка подставлял тебе плечо и было холодно от его плеча.

– Если тут возят мёртвых, – медленно сказала она, – значит, он тоже тут был?

– Если умер, был, – сказал Онисим.

– Вы его везли?

– Может быть. Я не помню всех.

– А если он ещё тут? Вон там? – Она показала на серые постройки за отмелью. – Если он ждёт?

Онисим посмотрел туда, куда она показала, потом снова на неё. Что-то изменилось в его лице, совсем чуть-чуть. Ульяна не смогла бы сказать, что именно. Может быть, складки у рта стали глубже.

– Два года, – сказал он. – Столько не ждут. Только кто сам не хочет.

– Он маленький. Ему семь лет было. Он мог испугаться.

– Маленькие не ждут. Маленьким не страшно.

– Откуда вы знаете?

Фролка вдруг шмыгнул носом и отвернулся. Онисим бросил на него короткий взгляд и сказал тише:

– Почти никогда.

Ульяна поняла, что задела что-то, о чём не знала, но сейчас ей было не до этого. Она поднялась, держась за стенку будки, и сделала шаг к мосткам.

– Я пойду посмотрю.

– Нет, – сказал Онисим.

– Почему?

– Сначала надо понять, что с вами. Старица придёт, скажет.

– Какая ещё старица?

Фролка, который смотрел в сторону отмели, вдруг сказал тихо, почти благоговейно:

– А вон она.

Ульяна посмотрела туда же.

По отмели к пристани шло что-то. Сначала Ульяне показалось, что это просто сгусток тумана, чуть плотнее остального, вытянутый вверх и медленно плывущий над землёй. Потом она разглядела в этом сгустке очертания: высокая фигура, выше Онисима на голову, в длинном, до земли, чём-то вроде платка или накидки, которое переходило в туман без всякой границы. Ни лица, ни рук не было видно. Только плечи, узкие и покатые, и голова, склонённая чуть набок, как у птицы, которая прислушивается.

Мёртвые на пристани, ждавшие своей очереди, расступились перед ней молча и низко склонили головы.

Фигура остановилась у начала мостков. Постояла. Потом из тумана, из того места, где у неё должно было быть лицо, раздался голос. Тихий, сухой, шелестящий, как сухой камыш на ветру, но при этом слышный так ясно, будто говорили прямо в ухо:

– Онисим.

– Тут я, – отозвался перевозчик.

– Ты звал.

– Звал. Вот. – Он показал на Ульяну. – Живая. На пароме лежала. Не пускает нас река.

Фигура повернула голову. Ульяна почувствовала на себе взгляд, хотя глаз не видела. Взгляд был холодный, как вода, и долгий, и тяжёлый, и от него захотелось сжаться в комок. Но Ульяна не сжалась. Она стояла, держась за стенку будки, кутаясь в чужой армяк, и смотрела в туман, туда, где должно быть лицо.

– Вижу, – сказала Старица. – Триста лет не видела. Думала, уже не увижу.

– Что мне с ней делать?

Старица долго молчала. Потом сказала, и в её шелестящем голосе Ульяна вдруг услышала что-то похожее на усталость:

– Веди на берег. Под крышу. Пусть сидит у огня, пока ещё есть кому сидеть.

– Огня тут нет, – сказал Онисим.

– Для неё будет, – ответила Старица и повернулась, чтобы уйти. Потом остановилась и, не оборачиваясь, добавила: – И короб свой пересчитай, перевозчик. Мне кажется, ты сегодня взял больше, чем отвёз.

Глава 3. Прибрежье

Отмель была мягкая, как пепел, и следы на ней не держались. Ульяна шла за Онисимом, проваливаясь по щиколотку, и оглядывалась: её собственные следы затягивались через несколько шагов, будто их и не было. А его следов не было совсем. И Фролкиных тоже.

Мёртвые, ждавшие у пристани, провожали её взглядами. Новенькие, недавние, ещё не выпившие воду, они смотрели иначе, чем те, на пароме. В их лицах было всё, что бывает у людей в больничном коридоре перед кабинетом, где сейчас скажут диагноз: страх, надежда, растерянность, стыд за свой страх. Одна женщина в домашнем халате и тапочках протянула к Ульяне руку и тут же отдёрнула, будто обожглась о пар, который шёл от неё.

– Почему они на меня так смотрят? – тихо спросила Ульяна.

– Тёплая вы, – сказал Фролка, шагавший рядом. – Они тепло чуют. Давно не чуяли.

– Им холодно?

– Нет. Им его не хватает. Это не одно и то же.

Ульяна посмотрела на мальчишку. Иногда он говорил как ребёнок, а иногда как старик, и она не могла привыкнуть к этим переходам.

За отмелью начиналась деревня. Если это можно было назвать деревней. Избы стояли рядами, серые, без окон, с низкими дверями, и между ними тянулись улицы, тоже серые, присыпанные тем же пеплом, что и отмель. Ни заборов, ни огородов, ни колодцев. Ни одной трубы над крышами. Ни одной собаки, курицы, кошки. Ни звука. Ульяна шла по этой улице и думала, что так, наверное, выглядит деревня, которую нарисовал человек, видевший деревни только на картинках и никогда не живший в них.

– Здесь кто-нибудь живёт?

– Ждут, – ответил Онисим, не оборачиваясь. – Кто не готов ещё.

– Ждут чего?

– Кто чего. Кто родных. Кто прощения. Кто просто боится.

Из одной двери выглянул старик в шинели без погон, посмотрел на Ульяну и спрятался. Из другой вышла женщина в старинном сарафане, с косой до пояса, и долго смотрела вслед, не мигая.

– И долго ждут?

– По-разному. Кто день. Кто сто лет.

– Сто лет? – Ульяна остановилась. – И вы их не заставляете?

Онисим тоже остановился и обернулся.

– Заставлять нельзя. Плата своей волей. Вода своей волей. Иначе не берёт.

– А если кто-то никогда не захочет?

– Тот никогда и не пойдёт.

Он сказал это просто, без осуждения, как о погоде. Ульяна смотрела на серые избы и пыталась представить, каково это: сто лет сидеть в такой избе без окна и ждать. Представить не получалось. Получалось только холодно.

На перекрёстке двух улиц, если тут были перекрёстки, их ждал человек. Он стоял, опершись на трость, и было видно, что стоит он здесь не случайно, а нарочно вышел навстречу. Невысокий, сухонький, в старом драповом пальто с каракулевым воротником, в шляпе и в круглых очках с одним треснувшим стеклом. Под пальто виднелся галстук, повязанный аккуратно, как на праздник.

– Онисим, – сказал он, приподняв шляпу. – Здравствуйте. Простите, что вмешиваюсь. До нас дошёл слух.

– Здравствуй, Аристарх Филиппович.

– Так это правда? – Старичок перевёл взгляд на Ульяну, и за треснувшим стеклом его глаз смешно и трогательно раздвоился. – Боже мой. Правда. Вы ведь живая, сударыня?

– Кажется, да, – сказала Ульяна.

– Пар, – сказал старичок с восхищением, как говорят о радуге. – Вы видите, Онисим? Пар. Я шестьдесят два года не видел, как идёт пар изо рта. Последний раз видел зимой шестьдесят третьего, у школьного крыльца. У Леночки Сухаревой из седьмого «Б» была привычка дышать на стекло и рисовать на нём пальцем рожицы. Я ей делал замечания. Господи, какой я был дурак.

Он снял очки, протёр треснувшее стекло полой пальто и снова надел.

– Аристарх Филиппович Звягин, – представился он. – Учитель словесности. Бывший, разумеется. Всё здесь бывшее.

– Ульяна. Сабурова.

– Очень приятно. Очень. – Он пожал ей руку, и рука у него была сухая и лёгкая, как осенний лист, и холодная. – Вы не пугайтесь, Ульяна. Здесь не страшно. Здесь, знаете, скучно. Это гораздо хуже, но к этому привыкаешь.

– Аристарх Филиппович, – сказал Онисим. – Ей к огню надо.

– Да-да. Конечно. Я не задерживаю. – Учитель отступил в сторону и приподнял шляпу снова. – Если понадобится что-нибудь узнать про здешних, спросите меня. Я тут всех знаю. Шестьдесят два года, сами понимаете, было время познакомиться. А я, знаете ли, жду жену. Мы поссорились перед самым моим концом, и я хочу попросить прощения. Она должна прийти. Ей, правда, уже было бы за девяносто, но она всегда была упрямая.

Он грустно улыбнулся и пошёл прочь, постукивая тростью по серому пеплу улицы. Трость не издавала ни звука.

– Шестьдесят два года, – сказала Ульяна, глядя ему вслед. – И он всё ещё ждёт.

– Ждёт, – сказал Онисим.

– А она?

– Не знаю. Может, уже прошла. Он её не заметил. Или она его.

– Разве так бывает?

Онисим пожал плечами.

– Тут всё бывает. Кроме живых.

Изба, к которой её привёл Онисим, стояла на краю деревни, у самой отмели, так что из двери, если её открыть, был виден паром. Она была такая же, как все: серая, низкая, без окон. Онисим толкнул дверь, пригнулся и вошёл первым. Ульяна вошла за ним.

Внутри было темно и пусто. Ни лавок, ни стола, ни печи. Голые стены из потемневших брёвен, голый пол, низкий потолок, под которым Онисим не мог выпрямиться. Пахло сыростью и пылью.

– Огня тут нет, – повторил Онисим то, что уже говорил Старице. – Я не знаю, что она…

Он не договорил.

В углу, у дальней стены, что-то засветилось. Сначала совсем слабо, как светится уголёк в остывшей золе, если на него подуть. Потом ярче. Ульяна смотрела, не веря, как в пустом углу, прямо на голом полу, разгорается огонь. Маленький, с ладонь, рыжий и живой. Он горел ни на чём: не было ни дров, ни углей, ни лучины. Просто огонь, сам по себе. И от него шло тепло.

Ульяна шагнула к нему и опустилась на колени. Протянула руки. Тепло было настоящее, она чувствовала его кожей, и от него заныли отогревающиеся пальцы. Она чуть не заплакала от этой боли, потому что боль значила, что пальцы живые.

Фролка остался в дверях. Он смотрел на огонь круглыми глазами.

– Дядька, – прошептал он. – Это что?

– Огонь.

– Я знаю, что огонь. Я сто лет огня не видел.

– Девяносто, – поправил Онисим.

– Всё равно.

– Ты считаешь? – удивилась Ульяна, глядя на Онисима.

– Считаю, – сказал он. – Переправы считаю. По зарубкам. Больше тут считать нечего.

Он сказал это так буднично, что Ульяна только потом, много позже, поняла, сколько за этими словами стоит. Триста лет зарубок. Ни одного дня без переправы.

Онисим тоже смотрел на огонь, и Ульяна увидела в его лице то же самое, что в лице Фролки: удивление, почти детское, и что-то похожее на голод. Не на тепло даже, а на сам свет, рыжий и живой, единственный рыжий цвет в этом сером мире.

– Можно подойти? – спросил Фролка.

– Иди, – сказала Ульяна.

Мальчишка подошёл и сел на корточки рядом с ней. Протянул руки к огню, как она. Ульяна видела, что тепла он не чувствует: его ладони оставались такими же бледными. Но он всё равно держал их над огнём и улыбался.

Онисим к огню не подошёл. Он сел у стены, у двери, положив руки на колени, и смотрел оттуда.

– Это не мой огонь, – сказала за его спиной Старица.

Ульяна вздрогнула. Она не слышала, как та вошла. Старица стояла посреди избы, и её туманная фигура почти упиралась в потолок, и непонятно было, как она прошла в низкую дверь. Наверное, никак. Наверное, она просто была там, где хотела быть.

– А чей? – спросила Ульяна.

– Твой.

– Мой?

– Это тепло, которое ещё есть в тебе. Там. – Старица повела головой куда-то в сторону, и Ульяна поняла, что она имеет в виду не стену избы, а что-то за ней, за отмелью, за туманом, за всей этой рекой. – Пока горит, ты живая. Как погаснет, всё. Тогда пойдёшь с остальными, к ковшу.

Ульяна смотрела на огонь. Он был маленький. С ладонь.

– Он кажется не очень большим, – сказала она.

– Не очень, – согласилась Старица.

– Сколько у меня времени?

– Не знаю. Тут нет времени. Каждая ночь на реке – там сутки. Может, больше. Может, меньше. Смотри на огонь. Он скажет.

– А ночь тут как узнать? Тут же всё одинаковое.

– Туман скажет. Опустится, потемнеет – ночь. Поднимется – день. Онисим знает.

Ульяна оторвала взгляд от огня и посмотрела на Старицу. Вблизи та была ещё страннее, чем издалека. Туман, из которого она состояла, всё время медленно шевелился, будто дышал, и в нём, если смотреть пристально, проступали то складки ткани, то пряди волос, то очертания длинных узких пальцев. Но стоило моргнуть, и всё снова расплывалось.

– Вы кто? – спросила Ульяна.

– Я тут была, когда не было парома, – ответила Старица. – И буду, когда его не станет. Больше тебе знать не надо.

– Хорошо. Тогда скажите хотя бы, как я сюда попала.

– Сама пришла.

– Как сама? Я ничего не помню.

– Знаю. – Старица помолчала, и туман вокруг неё шевельнулся. – Ты пришла через воду. Живые иначе не приходят. Ты легла в воду там, у себя, и вода тебя принесла сюда. Монета у тебя в руке была?

Ульяна сжала кулак. Монету она подобрала с досок и сунула в карман джинсов, а джинсы сохли теперь у огня. Она нашла её и показала на ладони.

– Вот.

– Старая медь, – сказала Старица. – Перевозная. Такими раньше платили на живых перевозах, и кто-то когда-то решил, что так платят и здесь. Это неправда. Здесь медью не платят. Но медь помогает найти дорогу. Кто-то тебя научил.

– Кто?

– Не знаю. Это ты должна помнить.

– Я не помню!

– Знаю, – повторила Старица. – Потому что заплатила.

Ульяна замерла.

– Чем?

– Тем, что не помнишь. – Голос Старицы стал совсем тихим, шелестящим. – На паром без платы не войти. Ни мёртвому, ни живому. Короб берёт своё. Ты положила руку на крышку и отдала одно воспоминание. Самое последнее. Самое тяжёлое. Дорогу сюда.

В избе стало очень тихо. Даже огонь, кажется, притих. Фролка опустил руки и смотрел то на Старицу, то на Ульяну. Онисим у двери не шевелился.

– Значит, оно там? – медленно сказала Ульяна. – В коробе? Моё воспоминание?

– Должно быть.

– Так верните мне его.

– Это не ко мне. Это к перевозчику.

Ульяна обернулась к Онисиму. Он смотрел на неё из полумрака, и в его серых глазах отражался рыжий огонёк.

– Памятки не возвращают, – сказал он глухо. – Никогда. Плата есть плата.

– Но я живая! Мне надо домой! Без этого я не вспомню, как вернуться!

– Это верно, – сказала Старица. – Без него не вернёшься.

– Что?

Старица повернулась к ней всем своим туманным телом.

– Обратно с Леты есть только одна дорога. Протока в камышах, ниже по течению. Она открывается тому, кто помнит, как пришёл. Только тому. Без памяти ты её не увидишь, даже если будешь стоять рядом.

– Тогда я должна получить это воспоминание.

– Должна.

– А он не отдаёт!

– Он не может, – сказала Старица, и в её голосе вдруг прозвучало что-то почти мягкое. – Он не знает, как. Никто не знает. Никто никогда не просил.

Ульяна вскочила. Армяк сполз с плеч, и холод тут же вцепился в голые руки, но она не стала его поднимать.

– Значит, будем знать! – крикнула она. – Я не собираюсь тут сидеть и смотреть, как он гаснет! У меня там… у меня там…

Она запнулась. Что у неё там? Пустая квартира на Кооперативной. Смена в хосписе. Люба, которая будет волноваться. Дочь Ермолая Петровича, которой надо отдать вещи. Бывший муж, который не позвонит, потому что не звонит уже год. Могила на Корнильевском кладбище, к которой она ходит каждое воскресенье.

И всё. Больше там ничего не было.

Она поняла это, стоя посреди серой избы, и ей стало так страшно, как не было даже на пароме. Не потому что у неё там мало. А потому что на мгновение, на одно короткое мгновение, ей показалось, что это не так уж и важно. Что можно остаться. Что тут, по крайней мере, тихо.

– Нет, – сказала она вслух, сама себе. – Нет.

Она подняла армяк и снова закуталась в него.

– Хорошо, – сказала она уже спокойнее. – Вы говорите, что никто никогда не просил вернуть памятку. А живые тут были? Кроме меня? Вы сказали, триста лет не было. А раньше?

Старица долго молчала.

– Был один, – сказала она наконец.

– И что с ним стало? Он вернулся?

– Нет.

– Почему?

– Это не моя история, – сказала Старица. – Не мне её рассказывать.

– А чья?

Старица не ответила. Она повернулась к двери, и Ульяна поняла, что разговор окончен. Но у самого порога Старица остановилась и сказала, не оборачиваясь:

– Перевозчик. Я тебе сказала: пересчитай короб.

– Пересчитаю, – отозвался Онисим.

– Сейчас.

– Сейчас.

И Старицы не стало. Не вышла, а просто растворилась, как растворяется пар над остывающей кружкой.

Ульяна опустилась на пол у огня. Её трясло, и это была уже не дрожь от холода, а что-то другое. Она обхватила колени руками и смотрела на рыжий язычок пламени. С ладонь. Только с ладонь.

– Я хочу спросить ещё одно, – сказала она, не поднимая головы. – Вы оба. Я хочу спросить про сына.

Онисим поднялся. Ему пришлось пригнуться, чтобы не задеть потолок.

– Потом, – сказал он. – Сначала короб.

– Он мог быть здесь. В этой деревне. Он мог ждать меня.

– Потом, – повторил Онисим, и в его голосе впервые прозвучала не растерянность, а что-то твёрдое. – Короб. Если там твоя памятка, сделаем, что сможем. Если нет…

– Если нет, то что?

Он не ответил. Пригнулся ещё ниже и вышел.

Ульяна осталась с Фролкой. Мальчишка сидел рядом и снова держал руки над огнём, и снова улыбался тому, чего не чувствовал.

– Фролка, – сказала она. – А почему он сказал, что маленькие не ждут?

Фролка перестал улыбаться.

– Потому что им не страшно.

– А тебе было страшно?

Он помолчал, глядя в огонь.

– Нет, – сказал он. – Мне не страшно было. Я маму ждал. Она должна была прийти.

– Пришла?

– Нет пока. Но придёт.

Ульяна смотрела на него, на белые вихры, на оттопыренные уши, на босые ноги, и не знала, что сказать. Девяносто с лишним лет. Его мама давно умерла. Она должна была пройти через эту отмель, через этот паром, мимо этого мальчишки. Как она могла пройти мимо?

– А если она уже прошла? – осторожно спросила Ульяна. – А ты не заметил?

– Я бы заметил, – твёрдо сказал Фролка. – Я каждого смотрю. Каждого-каждого. Девяносто лет смотрю. Она бы не прошла.

– Хорошо, – сказала Ульяна. – Хорошо.

Она знала про ожидание больше, чем хотела бы. В хосписе ждали все. Подопечные ждали, когда отпустит боль, когда приедут дети, когда наконец закончится. Родные ждали в коридоре,

на продавленном диване у кулера, по ночам, с телефонами в руках. Ульяна видела, как люди держатся за ожидание, как за поручень в трясущемся автобусе. Пока ждёшь, ещё ничего не кончилось. Пока ждёшь, ещё можно.

Она и сама два года ждала. Не говорила себе об этом, но ждала. Что позвонят из больницы и скажут: ошибка, перепутали анализы. Что откроется дверь и Гриша войдёт с ранцем, бросит его в прихожей и крикнет с порога: «Мам, а что есть?» Она понимала, что это безумие, и всё равно каждый вечер, поворачивая ключ в замке, задерживала дыхание.

Наверное, Фролка задерживал дыхание девяносто лет. Если бы оно у него было.

Огонь потрескивал, хотя трещать ему было нечему. Снаружи, у пристани, было слышно, как Онисим ходит по парому, как скрипит крышка короба. Потом наступила тишина, долгая, такая долгая, что Ульяна подняла голову и прислушалась.

Потом Онисим позвал. Не громко, не испуганно, но так, что Фролка вскочил раньше, чем Ульяна успела понять, что зовут.

– Фрол. Сюда. Оба.

Ульяна натянула ещё сырые джинсы, сунула ноги в кроссовки без шнурков и вышла из избы. Туман снаружи потемнел, опустился ниже, лёг на воду плотным пологом. Онисим стоял на корме у открытого короба, и в руках у него была дощечка с зарубками.

– Девять, – сказал он, когда они подошли. – Девять человек сели. Девять камней в коробе. И ещё один.

– Это мой, – сказала Ульяна.

– Твой должен быть. – Он поднял на неё глаза. – А его нет.

– Как нет? Вы же сказали, ещё один.

– Был ещё один, – сказал Онисим. – Я его слышал, когда ты пришла, только не понял. Он стукнул. А в коробе сейчас девять. Кто-то взял.

Глава 4. Короб

– Кто-то взял, – повторила Ульяна. – Кто?

Онисим не ответил. Он стоял над открытым коробом и смотрел внутрь, и Ульяна, подойдя ближе, тоже заглянула.

На дне короба, на тёмных досках, лежали камешки. Девять штук. Гладкие, округлые, размером с перепелиное яйцо, и все разного цвета. Один был медово-жёлтый, тёплый даже на вид. Другой серо-голубой, как зимнее небо. Третий почти чёрный, но с багровой искрой внутри, будто в нём тлел уголь. Они не блестели, а светились, слабо, изнутри, и от них шло едва заметное тепло. Ульяна почувствовала его лицом.

– Это и есть? – тихо спросила она. – Воспоминания?

– Памятки, – сказал Онисим.

– Можно потрогать?

– Нет.

– Почему?

– Потому что проживёшь. Возьмёшь в руку, и оно в тебя войдёт. Чужое. – Он помолчал. – Потом трудно вынуть.

Ульяна отступила на шаг. Она смотрела на камешки и думала, что вон тот, медовый, может быть, чьё-то первое свидание. А серо-голубой – чьи-то похороны. А чёрный с багровой искрой… Она не хотела думать, что там.

– А цвет что-нибудь значит? – спросила она.

– Не знаю. Я не спрашивал. – Онисим подумал. – Тёмные тяжелее. Светлые лёгкие, как пух. Это руками чуешь, даже через тряпку.

– А бывают совсем прозрачные?

– Бывают. Редко. Это у тех, кто отдал что-то, чего сам не понял. Ребёнок, например. Или совсем старый, у которого в голове уже туман.

– Мой какого цвета был? – спросила она.

– Не видел. Не было его тут, когда я открыл.

– А вы точно слышали, что он упал?

Онисим медленно кивнул.

– Стукнуло десять раз. Я считал, а не думал. Я всегда считаю. Девять человек, а стукнуло десять. Я решил, обсчитался. – Он сжал губы. – Я триста лет не обсчитывался.

– Значит, кто-то взял между тем, как я положила руку, и тем, как вы открыли.

– Значит.

– Кто мог?

Он поднял на неё глаза.

– На пароме, кроме меня, только Фрол. И мёртвые. Мёртвые к коробу не подходят после платы. Им незачем. Короб открывается только моей рукой.

Ульяна обернулась. Фролка стоял у будки, прислонившись к стене, и ковырял пальцем босой ноги щель между досками.

– Я не брал, – сказал он, не поднимая головы. – Чего вы на меня смотрите? Я его и открыть-то не могу. Дядька знает.

– Не может, – подтвердил Онисим. – Пробовал по малолетству. Не открылся.

– Тогда кто?

– Не знаю.

Это «не знаю» Ульяна уже слышала от него много раз за этот бесконечный день, и каждый раз оно звучало по-разному. Сейчас в нём было что-то новое. Злость. Тихая, глубокая, как вода под мостом.

– Покажите мне, куда вы их кладёте, – сказала она.

– Зачем?

– Затем, что если мой туда попал, а потом пропал, то, может быть, там остались какие-нибудь следы. Я не знаю. Я не следователь. Но я не могу просто стоять.

Онисим долго смотрел на неё. Потом закрыл короб, поднял его за ручки и понёс к будке. У будки он поставил короб, нагнулся и откинул в полу тяжёлую крышку люка, обитую по краям железом. Под люком начиналась лестница вниз, в темноту.

– Кладовая, – сказал он. – Иди за мной. Ничего не трогай.

Он спустился первым, неся короб. Ульяна полезла за ним. Ступени были крутые, скользкие, и пахло снизу сыростью, деревом и чем-то ещё, сладковатым, как пахнет в старых церквях от воска и ладана.

Внизу было светло.

Ульяна остановилась на последней ступеньке и долго не могла сделать следующий шаг.

Трюм «Тихони» был больше, чем мог быть. Снаружи паром казался большим, но всё-таки обычным, а здесь, внизу, тянулись ряды полок, уходящие вдаль, туда, где их уже нельзя было разглядеть. Полки были из тёмного дерева, грубые, сколоченные кое-как, и на каждой полке лежали камешки. Тысячи. Сотни тысяч. Они светились, каждый своим цветом, и этот свет, смешиваясь, давал ровное, мягкое, золотисто-серое сияние, похожее на свет зимнего утра сквозь замёрзшее окно.

– Господи, – прошептала Ульяна.

– Тут все, кто прошёл, – сказал Онисим, ставя короб на пол у первой полки. – При мне. До меня, наверное, тоже, только те дальше лежат. Я туда не хожу.

– И вы их все сами раскладывали?

– Сам.

– Триста лет?

– Да.

Он открыл короб, и Ульяна увидела, как он берёт камешки. Не пальцами, а через тряпицу, старую, засаленную, обёрнутую вокруг ладони. Берёт по одному, бережно, как берут яйца из-под курицы, и кладёт на свободное место на полке. Медовый. Серо-голубой. Чёрный с багровой искрой. Каждый он клал отдельно, на небольшом расстоянии от соседнего, и Ульяна поняла, что между ними есть порядок. Не по цвету и не по размеру, а по переправам: вот этот ряд – сегодняшняя, вот тот – вчерашняя, если тут бывает вчера.

– Вы их помните? – спросила она. – Каждую переправу?

– Нет. Но я знаю, где какая. По зарубкам.

Он показал на край полки. На тёмном дереве были зарубки, короткие, косые, сделанные ножом. Каждая против своего ряда камешков. Ульяна пошла вдоль полки, глядя на эти зарубки и на камешки, и через несколько шагов остановилась.

– Онисим. Тут пусто.

Он подошёл. Между двумя камешками, серым и розоватым, было свободное место. Небольшое, как раз на ещё один камешек.

– Может, так и было, – сказал Онисим, но сказал неуверенно.

– Вы их кладёте ровно. Я видела. Все на одинаковом расстоянии. А тут дырка.

Онисим наклонился и долго смотрел на пустое место. Потом пошёл дальше, вдоль полки, всё быстрее, наклоняясь к каждому ряду. Ульяна шла за ним. Ещё одна дырка. Ещё. Через три ряда. Через десять. Пустые места были разбросаны по полкам без всякой системы, то густо, то редко, но их было много. Очень много.

Онисим остановился. Ульяна видела, как он стиснул кулак с намотанной на него тряпицей.

– Я не видел, – сказал он глухо. – Триста лет. Я не видел.

– Вы же не считали их потом. Вы только клали.

– Клал и не смотрел.

– Когда это началось?

Он прошёл ещё дальше, в глубину, туда, где свет был чуть тусклее. Ульяна шла за ним и считала про себя дырки, сбилась на сорок с чем-то и перестала. Наконец Онисим остановился у полки, зарубки на которой были почти не видны, так стёрлись.

– Вот, – сказал он. – Тут ещё ровно. А дальше уже нет.

– Это когда?

Он провёл пальцем по зарубкам, шевеля губами.

– Лет сто назад. Может, меньше.

Ульяна смотрела на ряд ровно лежащих камешков, а потом на первую дырку в следующем ряду. Сто лет назад. Или меньше.

Девяносто, подумала она. Девяносто лет назад. Она вспомнила, как Онисим поправил Фролку в избе: не сто лет, а девяносто. И как Фролка стоял у будки и ковырял ногой щель между досками.

Она ничего не сказала. Не сейчас. Она не была уверена. И она вспомнила, как сама два года назад обвиняла всех вокруг: врачей, мужа, себя, Бога. Обвинять легко. Она не хотела обвинять ребёнка, не зная.

– Онисим, – сказала она вместо этого. – А что будет, если взять памятку в руку? Вот так, без тряпки?

– Я говорил. Проживёшь.

– А если я возьму камешек, который лежит рядом с дыркой? Может быть, я увижу что-нибудь? Того, кто взял. Ну, не знаю. Если тот, кто брал, прикоснулся к соседним.

– Не увидишь. Увидишь чужую жизнь.

– Откуда вы знаете?

Он помолчал.

– Я брал, – сказал он. – Раньше. В первые годы. Много брал.

– И что?

– И не помнил потом, где чьё. Где моё, где их. – Он отвернулся. – Чуть не пропал. Перестал.

Ульяна смотрела на его спину, на широкие опущенные плечи, и вдруг ей стало его жалко. Остро, по-настоящему, как бывало жалко подопечных, которые храбрились до последнего, а потом вдруг, на одно мгновение, переставали храбриться. Триста лет он раскладывал чужие воспоминания по полкам и не смел к ним прикоснуться, потому что боялся потерять себя. А себя у него, если подумать, почти и не было.

– А вы своё тоже отдали? – спросила она тихо. – Когда пришли сюда?

Онисим обернулся.

– Наверное.

– И оно тоже здесь? Где-то на этих полках?

Он долго молчал. Потом сказал:

– Я искал. Давно. Его должно быть видно. Своё всегда видно, говорят. Я не нашёл.

Ульяна огляделась. Полки, полки, полки, уходящие в глубину трюма. Сотни тысяч камешков. И среди них нет его собственного. И её собственного.

– Значит, их обоих взяли, – сказала она.

– Может быть.

– Тот же самый человек?

– Не знаю.

Она протянула руку к ближайшей полке, к камешку рядом с пустым местом. Камешек был бледно-зелёный, как молодая листва.

– Нет! – сказал Онисим, но было поздно.

Пальцы коснулись гладкого и тёплого, и мир исчез.

Ульяна стояла на краю поля. Июнь, вечер, солнце низко, и всё вокруг залито рыжим светом. Пахнет клевером и коровами. Она держит в руках подойник, тяжёлый, полный, и молоко в нём ещё тёплое, с пеной. Ей семнадцать лет, и ноги у неё босые, и подол юбки мокрый от росы. По тропинке от реки идёт парень, высокий, в расстёгнутой рубахе, и несёт на плече косу. Он видит её, останавливается и улыбается. «Нюра, – говорит он. – Нюрка. Давай подсоблю». И она отвечает, сама не зная, откуда у неё такая смелость: «А подсоби, Коля. Только, гляди, не разлей». И он берёт у неё подойник, и их пальцы соприкасаются на ручке, и ей кажется, что сейчас она умрёт от счастья, вот прямо здесь, на краю поля, в клевере.

Ульяна открыла глаза.

Она сидела на полу Кладовой, прислонившись спиной к полке, и Онисим держал её за плечи, а бледно-зелёный камешек лежал рядом, на досках, куда она его, наверное, уронила. Щёки у неё были мокрые.

– Нюра, – сказала она. – Её звали Нюра. А его Коля. Она несла молоко.

– Говорил я, – сказал Онисим. Голос у него был сердитый, но держал он её осторожно. – Говорил, не трогай.

– Это та бабушка, да? В платке? Которая сегодня…

– Не знаю. Может, и не она. Этот давно лежит.

Ульяна вытерла лицо рукавом армяка. Внутри у неё было странное чувство: будто она одновременно и здесь, на полу трюма, тридцатишестилетняя, замёрзшая, перепуганная, и там, на краю поля, семнадцатилетняя, с подойником в руках, влюблённая до одури в парня с косой. И обе эти Ульяны были настоящими. Она понимала теперь, что Онисим имел в виду, когда говорил, что трудно вынуть.

– Она это отдала, – сказала Ульяна. – Самое счастливое. За перевоз.

– Многие так.

– Почему?

– Потому что жалко. – Онисим поднял камешек тряпицей и положил на место. – Короб берёт только то, что жалко. Чем жальче, тем легче пускает.

– А я что отдала? Самое жалкое? Дорогу сюда?

– Старица сказала: самое последнее. Не всегда самое жалкое. Иногда самое тяжёлое.

Ульяна поднялась, держась за полку. Её покачивало. Она посмотрела на пустое место рядом с бледно-зелёным камешком и подумала, что кто-то, кто взял отсюда памятку, держал её в руках так же, как она сейчас. И прожил чужое. И, может быть, это ему понравилось.

– Если кто-то берёт их не для того, чтобы смотреть, – медленно сказала она, – а для чего-то ещё. Что можно сделать с чужой памятью?

Онисим долго молчал. Свет полок отражался в его глазах, и они казались теперь не серыми, а золотистыми.

– Не знаю, – сказал он. – Раньше не думал. Никому не нужно было.

– А теперь кому-то нужно.

– Выходит, так.

– Покажите мне, где они кончаются, – попросила Ульяна. – Ваши. Где самая первая полка, которую вы положили.

Онисим помедлил, потом кивнул и пошёл в глубину трюма. Ульяна шла следом. Свет полок постепенно тускнел. Камешки здесь были темнее, будто покрылись патиной, и тепло от них шло слабее, как от печки, протопленной вчера. Зарубки на краях полок почти исчезли. Шли долго, так долго, что Ульяна перестала понимать, как такой огромный трюм может помещаться под дощатым паромом, и решила об этом не думать.

Наконец Онисим остановился.

– Вот, – сказал он. – Тут я начал.

Полка была такая же, как другие, только зарубка на ней была одна, глубокая, неровная, будто её делали дрожащей рукой. Рядом с зарубкой лежал камешек, первый в ряду. Серый, невзрачный, как речная галька.

– Первая плата, – сказал Онисим. – Первая моя переправа. Помню только, что руки тряслись. Больше ничего.

– А дальше? За этой полкой?

Онисим посмотрел в темноту за полкой. Там стояли другие полки, ещё темнее, и камешки на них были почти чёрные, без всякого свечения.

– Это не моё, – сказал он. – Это до меня. Прежнего перевозчика.

– Прежнего? Был прежний?

– Был. Всегда кто-то был.

– А где он теперь?

– Ушёл, наверное. На тот берег. Как все.

Ульяна шагнула за полку, в темноту. Онисим не остановил её, только поднял руку с тряпицей, будто хотел, и опустил. Здесь пахло сыростью сильнее, и под ногами было мокро. Камешки на полках лежали неровно, кучками, без всякого порядка, и многие, кажется, были треснутые.

На крайней полке, у самого прохода, камешков не было вовсе. Было только дерево, тёмное, почти чёрное, и на нём что-то вырезано. Ульяна наклонилась. Весло, перечёркнутое косой чертой. И под ним три буквы, глубокие, злые, вырезанные так, что дерево вокруг них расщепилось: «ЛУК».

– Это что? – спросила она.

Онисим подошёл и долго смотрел на вырезанное.

– Не знаю, – сказал он. – Я сюда не ходил. Не моё.

– Лук? Как оружие? Или как овощ?

– Не знаю.

Но Ульяна видела, что он смотрит на эти три буквы так, как смотрят на лицо, которое никак не можешь вспомнить, хотя точно где-то видел. Долго, напряжённо, с болью. Потом Онисим отвернулся.

– Пойдём, – сказал он. – Нечего тут.

Они шли обратно молча. Ульяна несколько раз оглянулась. Темнота в конце трюма стояла плотная, как вода, и ей казалось, что оттуда кто-то смотрит им вслед. Наверное, казалось. Здесь всё время что-то казалось.

Они поднялись наверх. Туман снаружи совсем потемнел и опустился на воду, стал почти чёрным. Ночь, поняла Ульяна. Первая ночь. Где-то там, в её мире, прошёл день.

Фролки на пароме не было.

– Где он? – спросила Ульяна.

– Бегает, – сказал Онисим. – Он ночью всегда бегает. По берегу. Мать высматривает.

Он сказал это спокойно, привычно, и Ульяна поняла, что он никогда не думал об этом иначе. Мальчик девяносто лет бегает ночью по берегу и высматривает мать. Что тут думать.

– А он далеко бегает?

– По всей отмели. Вверх, вниз. Под утро возвращается.

– И вы ни разу не ходили с ним?

– Зачем? – удивился Онисим. – Это его дело. Он мать ждёт. Я ему не мать.

Ульяна посмотрела вдоль берега. Отмель тянулась в обе стороны и пропадала в темноте. Вверх по течению, где-то очень далеко, ей почудились слабые огоньки, но, может быть, это просто устали глаза. Вниз по течению не было ничего. Только чёрная вода, чёрный туман и полоса пепельного песка, светлеющая в темноте, как дорога.

И на этой полосе, далеко, у самого края видимости, мелькнула маленькая фигурка. Мелькнула и пропала. Ульяне показалось, что под рубахой у фигурки что-то светится, слабо, золотисто, как светятся памятки на полках. Но фигурка была далеко, и было темно, и Ульяна столько всего видела сегодня, что не доверяла уже собственным глазам.

Она ничего не сказала Онисиму. Не потому что хотела скрыть. Просто не знала, что именно видела. В хосписе её учили: не говори родным того, в чём не уверена. Одно неосторожное слово, и человек будет носить его в себе годами. Здесь, наверное, было так же.

Она ничего не сказала. Она пошла по мосткам к избе на краю деревни, к своему огню. У двери она обернулась. Онисим сидел на лавке у будки, неподвижный, как свая, и смотрел на воду. Не на тот берег, куда возил, а вниз по течению, туда, где в темноте ничего не было видно.

В избе огонь горел в углу, маленький, рыжий. Ульяна села рядом и протянула к нему руки. Ей показалось, что он стал чуть меньше, чем был днём. Она смотрела на него долго, пытаясь запомнить его размер, как запоминают уровень воды в стакане, чтобы утром проверить, не отпил ли кто. Рыжий язычок покачивался, хотя сквозняков тут не бывало, и тени на брёвнах качались вместе с ним. Чуть-чуть, на толщину пальца. Может быть, показалось.

Она легла на голый пол, свернулась калачиком в армяке, лицом к огню, и закрыла глаза. Она думала, что не уснёт, но уснула почти сразу, и ей снилось поле с клевером, и парень с косой, и голос, говорящий «Нюрка», и это был чужой сон, не её, и проснулась она с тоской, которая тоже была не её.

Глава 5. Сын

Утро на Лете не наступало, а проступало, как проступает изображение на старой фотографии в проявителе. Ульяна видела такое однажды в детстве, в кружке у отца на работе: красный фонарь, ванночка с вонючей жидкостью и лист белой бумаги, на котором медленно, из ничего, появляется лицо. Здесь было так же. Туман сначала был чёрным, потом тёмно-серым, потом серым, и из него проступали избы, отмель, мостки, паром.

Огонь в углу горел. Ульяна посмотрела на него сразу, как открыла глаза, ещё не вспомнив толком, где она. Он был меньше. Теперь она была в этом уверена. Вчера он был с ладонь, а сегодня с ладонь без большого пальца. Сутки, подумала она. Прошли сутки. Там.

Она представила себе, как это выглядит там. Её нашли, наверное. Кто-то нашёл, где-то. Скорая, носилки, приёмный покой. Она знала, как это бывает, тысячу раз видела. Капельница с подогретым раствором, грелки под мышки и в пах, мониторы. Врачи переговариваются над ней поверх её головы, как над вещью. Температура тела тридцать один, тридцать два. Пульс редкий. Прогноз неясный. Люба, наверное, уже знает. Люба всегда всё узнаёт первая.

Ульяна встала, закуталась в армяк и вышла из избы. У порога она обернулась и ещё раз посмотрела на огонь, словно прощалась с ним до вечера.

У пристани было людно. Вчера мёртвых на мостках стояло человек десять, а сейчас их было больше тридцати, и они не стояли уже, а сидели на досках, на отмели, на перевёрнутых лодках, которых вчера не было, и вид у них был такой, какой бывает у пассажиров на вокзале, когда объявили задержку поезда, а на сколько, не сказали. Они переговаривались вполголоса и поглядывали на паром.

«Тихоня» стояла у мостков. На ней, у бортов, сидели всё те же выпившие: старуха в платке, мужчина с сумкой, девушка в одной туфле. Их стало больше. Ульяна насчитала человек двадцать. Онисим стоял у шеста, неподвижный, и смотрел в туман.

– Вы плавали? – спросила Ульяна, подойдя.

– Плавал.

– Без меня?

– Без тебя. Думал, может, ты держишь паром. Если тебя на нём нету, пойдёт.

– И?

– Не пошёл. – Он кивнул на выпивших. – Взял новых, дал им ковш. Они выпили. Берега нет. Вернулся. Вот они.

– Значит, дело не в пароме.

– Дело в реке. – Онисим наконец повернул к ней голову. – Пока ты на ней, она стоит. Вся. Не только паром.

Ульяна посмотрела на выпивших. Они сидели тихо, лёгкие и пустые, и смотрели в туман. Им не было плохо. Им вообще никак не было. Но они должны были уйти, а не могли. Из-за неё.

– Простите, – сказала она. Не Онисиму, а им. Никто не обернулся.

– Им всё равно, – сказал Онисим. – Не за что.

– А тем? – Ульяна показала на отмель, на тридцать с лишним новеньких, ждущих своей очереди. – Им тоже всё равно?

Онисим промолчал.

Ульяна села на лавку у будки. Ноги не держали. Она чувствовала себя виноватой, и это было знакомое чувство, привычное, как старая куртка: два года она носила его, не снимая. Виновата, что не заметила раньше. Что синяки на ногах у Гриши приняла за обычные мальчишеские синяки, с горки, с велосипеда. Что повела к врачу только через месяц, когда он стал бледный и всё время уставал. Виновата, что поверила в ремиссию. Что не настояла на пере-

садке в Москве, когда ещё было можно. Виновата, что в последнюю ночь уснула, сидя у его кровати, на полчаса, и проснулась, когда он уже не дышал.

Онисим сел рядом. Лавка под ним не скрипнула.

– Расскажи, – сказал он.

– Что?

– Про сына. Ты вчера хотела.

Ульяна посмотрела на него. Он смотрел не на неё, а на воду, и лицо у него было такое, будто он приготовился нести что-то тяжёлое и теперь ждал, когда на него это положат.

– Зачем вам?

– Затем, что ты хочешь его искать. Я должен знать, кого.

Она помолчала. Потом сняла с запястья лошадку на шнурке и положила на ладонь.

– Его звали Гриша. Григорий Константинович Сабуров. Ему было семь лет и четыре месяца. Он любил лошадей, хотя ни разу в жизни не сидел на лошади, только на пони в парке, один раз. Любил гречку с молоком, ненавидел манку. Боялся пылесоса. Пел песни, которые сам придумывал, про всё на свете: про кота, про трамвай, про то, как он вырастет и будет водить пожарную машину. Когда ему было пять, у него нашли лейкоз.

Она остановилась. Онисим не торопил.

– Вы, наверное, не знаете, что это. Это болезнь крови. Кровь перестаёт работать как надо. Её лечат, долго, тяжело. Иногда вылечивают. Нам говорили, что шансы хорошие. Мы лечились полтора года. Он лысый был, маленький, худой, весь в синяках от капельниц, и всё равно пел. Медсёстрам пел, соседям по палате. Его все любили. Потом стало лучше. Ремиссия. Это значит, болезнь отступила. Мы вернулись домой, он пошёл в школу, во второй класс. Вырезал на уроке труда вот эту лошадку. Ухо отрезал случайно. А через три месяца всё вернулось.

– Вернулось, – повторил Онисим.

– Так бывает. Второй раз лечить тяжелее. Он уже не пел. Сказал мне однажды: «Мам, я устал». Ему было семь лет, и он сказал: «Я устал». Я тогда вышла в коридор и разбила кулаком стекло на пожарном щите. Порезалась. Медсестра зашивала, ругалась.

Она показала левую руку. На ребре ладони белел тонкий шрам.

– Он умер дома. Мы забрали его домой, когда врачи сказали, что больше ничего нельзя сделать. Я хотела, чтобы он был дома, в своей кровати, со своими лошадками на полке. Я сидела с ним каждую ночь. Пела ему. Он сам уже не мог петь, просил, чтобы я пела. Колыбельные. Он их стеснялся раньше, говорил, что он большой. А в конце просил.

Ульяна замолчала надолго. Онисим сидел рядом, не двигаясь.

– В последнюю ночь я уснула, – сказала она очень тихо. – На полчаса. Сидя. А когда проснулась, всё. Я не знаю, звал ли он меня. Я не знаю, было ли ему страшно. Я не знаю, что он чувствовал. Меня не было. Я спала.

– Ты устала, – сказал Онисим.

– Это не оправдание.

– Это не оправдание, – согласился он. – Это правда.

Она посмотрела на него с удивлением. Обычно люди, которым она рассказывала об этом, а она рассказывала редко, начинали утешать. «Ты не виновата». «Ты ничего не могла сделать». «Он не почувствовал». Она ненавидела эти слова, потому что знала, что люди говорят их не для неё, а для себя, чтобы поскорее закончить неловкий разговор. Онисим не утешал. Он просто сказал правду и замолчал.

– После этого, – продолжала Ульяна, – муж ушёл. Мы не ссорились. Просто не могли больше смотреть друг на друга. У него лицо Гриши, понимаете? Гриша на него был похож. Я смотрела на него и видела сына. А он, наверное, смотрел на меня и видел ту, кто уснула. Он уехал в Череповец. Мы развелись по почте.

– А ты?

– А я ушла из детской больницы, где работала, и пошла в хоспис. Это место, где люди умирают. Где им помогают умирать. Не больно, не страшно, не одиноко. Я сижу с ними, когда родных нет. Пою, если просят. – Она криво улыбнулась. – У меня теперь хорошо получается сидеть до конца. Я больше никогда не засыпаю.

Онисим долго молчал. Потом сказал:

– Ты хочешь его найти, чтобы спросить. Было ли ему страшно.

Ульяна кивнула. Говорить она не могла.

– И чтобы он сказал, что ты не виновата.

Она снова кивнула.

Онисим поднялся с лавки и встал перед ней. Он был высокий, широкий, и туман за его спиной казался ещё серее.

– Его здесь нет, – сказал он.

Ульяна вскинула голову.

– Откуда вы знаете?

– Два года. Маленькие не ждут. Он прошёл. Сел на паром, отдал плату, выпил воду, сошёл на тот берег. Я его вёз, наверное. Не помню. Я не помню лиц. Но он прошёл.

– Вы не можете этого знать.

– Знаю. – Голос у него был ровный и тяжёлый. – Триста лет. Дети не остаются. Им не за что держаться. Им не нужно прощения, не нужно ждать. Они садятся и едут. Легко. Легче всех.

– А Фролка?

Онисим запнулся. Ульяна увидела, как дрогнули складки у его рта.

– Фролка один такой, – сказал он. – Один за триста лет.

– Значит, бывает. Значит, могут быть и другие. Могут ждать.

– Не могут.

– Почему вы так уверены?! – Она вскочила с лавки. Армяк соскользнул с плеча, она не стала его поправлять. – Вы ничего не помните! Вы сами сказали! Не помните лиц, не помните своей жизни, не помните, как сюда пришли! Вы даже не помните, были ли у вас дети! Откуда вам знать, каково это – потерять ребёнка?!

Слова вылетели, и она тут же пожалела о них, но было поздно. Онисим стоял перед ней, и лицо его не изменилось. Совсем. Только глаза. В серых глазах что-то погасло, как гаснет свеча, на которую дунули.

– Не знаю, – сказал он. – Ты права. Не знаю.

– Онисим, простите, я не…

– Иди ищи, – сказал он. – Не держу. Только не ищи долго. Огонь маленький.

Он повернулся и пошёл на нос парома, к шесту. Ульяна осталась стоять у будки. Её трясло. Она подняла армяк, закуталась, постояла ещё и пошла по мосткам на берег.

Онисим смотрел ей вслед, пока она не сошла с мостков. Потом взялся за шест, хотя толкать было некуда, и стоял так, держась за него, как держатся за поручень.

Были ли у него дети?

Он никогда не задавал себе этого вопроса. За триста лет он не задал себе почти ни одного вопроса, потому что вопросы были как памятки: возьмёшь в руки, и уже не выпустишь. Он знал про себя немного. Что зовут Онисим. Что руки помнят шест и вёсла. Что выговор у него северный, окающий, такой, каким говорили на Сухоне и на Двине, это он понял по мёртвым, которые иногда узнавали его говор и спрашивали, не земляк ли. Что левое плечо ноет к туману. Что он не любит, когда на пароме плачут дети. Почему не любит, он не знал.

Он попробовал представить себе ребёнка. Своего. Белоголового, как Фролка, или тёмного, как он сам. Ничего не получилось. На том месте, где должна была быть картинка, была гладкая серая вода. Только где-то очень глубоко, на самом дне, что-то шевельнулось и тут же затихло, как рыба, которая ушла от крючка.

Онисим стиснул шест и стоял так долго.

У начала мостков её догнал Фролка. Он вынырнул откуда-то сбоку, из-под причала, босой, взъерошенный, с песком на коленках.

– Тётенька Ульяна, – сказал он, запыхавшись, хотя запыхаться ему было нечем. – Вы куда?

– Искать.

– Сына?

– Да.

– Я с вами.

Она посмотрела на него. Под утро, вспомнила она, он возвращается. Вот вернулся. И на рубахе у него, на груди, было небольшое мокрое пятно, будто он прижимал к себе что-то влажное. Ульяна отвела глаза.

– Пойдём, – сказала она.

Они шли по серой улице мимо серых изб. Ульяна заглядывала в каждую открытую дверь, но внутри было темно, и разглядеть, кто там, получалось не всегда. Мёртвые, сидевшие у порогов, провожали её взглядами, как вчера. Кто-то тянул руку к её пару. Кто-то отворачивался.

– Фролка, – сказала она. – Ты говорил, что каждого смотришь. Каждого, кто проходит.

– Каждого.

– Два года назад, осенью, в октябре, тут не проходил мальчик лет семи? Худой, стриженный совсем коротко, почти лысый. С большими глазами. Мог быть в пижаме, синей, с лошадками.

Фролка долго думал, морща лоб.

– Детей много проходит, – сказал он наконец. – Каждый день проходят. Я не всех помню. Я маму смотрю, а не детей.

– А с лошадкой? С такой вот? – Она показала ему лошадку на шнурке.

Фролка посмотрел на лошадку, протянул палец и потрогал её одно ухо.

– Не помню, – сказал он виновато. – Простите. Правда, не помню.

– Ничего.

Они шли дальше. Улица кончилась, началась другая. Те же избы, те же двери. Ульяна начала понимать, что деревня огромна. Гораздо больше, чем казалась с пристани. Улицы уходили в туман, и сколько их там, нельзя было сказать.

– Тут все ждут? – спросила она. – Во всех этих избах?

– Почти. Некоторые пустые стоят. Кто дождался, тот ушёл.

– А много тех, кто дождался?

Фролка пожал плечами.

– Бывает.

У одной из изб на второй улице сидела на пороге женщина в пальто с песцовым воротником, какие носили в восьмидесятые, в вязаной шапке и с хозяйственной сумкой на коленях. Она сидела очень прямо, как сидят в очереди в поликлинике, и смотрела на дорогу. Когда Ульяна поравнялась с ней, женщина сказала, не поворачивая головы:

– Вы тоже кого-то ищете.

Это был не вопрос. Ульяна остановилась.

– Сына.

– И я сына. – Женщина кивнула, и шапка качнулась. – Только я не ищу. Я жду. Он живой ещё. Старый уже, седьмой десяток. А всё живой. Я жду, когда придёт.

– Вы ждёте, когда он умрёт?

– Жду, – спокойно сказала женщина. – Мы поругались в последний раз. Сильно. Я ему сказала такое, чего матери не говорят. Он ушёл, хлопнул дверью. А ночью у меня сердце. Он

даже на похороны не приехал. Я его не виню. Я его жду, чтобы сказать, что не сержусь. Что я тогда со зла. Что я его люблю.

– Сколько вы ждёте?

– Тридцать восемь лет.

Ульяна смотрела на её прямую спину, на сумку, на руки в вязаных перчатках, сложенные поверх сумки. Тридцать восемь лет на пороге серой избы. Каждый день смотреть на дорогу.

– А если он, когда придёт, уже не захочет слушать? – спросила она. – Если он тоже будет торопиться, отдаст плату и сядет на паром, а вас не заметит?

Женщина впервые повернула голову. Глаза у неё были сухие и очень усталые.

– Тогда я буду знать, что дождалась, – сказала она. – И пойду за ним. Хоть и не скажу. Хоть посмотрю.

Ульяна не нашла, что ответить. Она пошла дальше, и Фролка пошёл рядом, и долго молчал, а потом сказал:

– Её Клавдия Ивановна зовут. Она хорошая. Она мне один раз сказала, что мама меня тоже, наверное, ищет. Только в другом месте. Я ей не поверил.

– Почему?

– Потому что тут одно место, – сказал Фролка. – Все сюда приходят. Больше некуда.

Ульяна подумала, что это, наверное, правда, и что от этой правды не легче, а тяжелее. Если все приходят сюда, значит, мать Фролки тоже пришла. Давно. И либо прошла мимо него, либо… Она не стала додумывать.

Они свернули на третью улицу. Здесь избы стояли теснее, и туман между ними был гуще, будто его нарочно набили в переулки, как паклю в щели. Из одной двери тянуло запахом махорки, хотя курить тут было нечего и некому. Из другой доносилось тихое бормотание, похожее на молитву или на счёт. Ульяна шла и думала, что вся эта деревня похожа на огромный зал ожидания, где давно перестали объявлять рейсы.

На третьей улице их окликнули. Ульяна обернулась. У низкой двери стоял Аристарх Филиппович в своём драповом пальто, опираясь на трость, и махал им шляпой.

– Сударыня! Ульяна! Я вас ищу. Вы, говорят, ищете сына?

– Откуда вы знаете?

– Здесь всё знают. – Учитель подошёл, постукивая тростью. – Новостей мало, а вы новость. Простите. Вы не сердитесь.

– Не сержусь.

– Я хотел предложить помощь. – Он снял шляпу и прижал к груди. – Я тут, знаете, шестьдесят два года. Я веду, если угодно, нечто вроде учёта. Неофициального, разумеется. Записываю. По памяти, конечно, бумаги тут нет. Но память у меня, слава богу, учительская. Кто пришёл, кто ушёл, кто остался. Кто кого ждёт. Привычка, знаете. Классный журнал.

Ульяна смотрела на него, на его аккуратно повязанный галстук, на треснувшее стекло, на пальцы, сжимающие поля шляпы, и в груди у неё что-то сжалось. Шестьдесят два года этот человек вёл журнал, который никто никогда не проверит.

– И детей записываете?

– Всех. – Он кивнул. – Детей особенно. Детей жалко. Они проходят быстро, но я стараюсь хоть имя запомнить. Если кто-нибудь когда-нибудь будет искать.

– Мальчик. Гриша. Григорий Сабуров. Два года назад, октябрь. Семь лет.

Аристарх Филиппович закрыл глаза. Губы его шевелились, будто он читал невидимый список. Ульяна стояла, не дыша. Фролка рядом с ней тоже замер.

Учитель открыл глаза. За треснувшим стеклом очков его взгляд снова раздвоился.

– Сабуров, – сказал он медленно. – Григорий. Помню. Был такой. Только, сударыня, он не два года назад был.

– А когда?

– Позавчера, – сказал Аристарх Филиппович. – Позавчера вечером. Спрашивал маму.

Глава 6. Ожидающие

Ульяна не помнила, как схватила учителя за плечи. Помнила только, что пальто у него под её пальцами было тонкое, как бумага, и что под пальто почти ничего не было, одна лёгкость, как у пустой птичьей клетки.

– Где он? – спросила она. – Где он сейчас?

– Сударыня, сударыня, – бормотал Аристарх Филиппович, не пытаясь освободиться. – Я не знаю. Простите. Я не знаю. Он ушёл.

– Куда?

– Если бы я знал…

Фролка тянул её за рукав армяка.

– Тётенька, пустите, – говорил он испуганно. – Пустите его. Он рассыплется.

Ульяна разжала пальцы. Учитель покачнулся, оперся на трость, поправил очки. Руки у него дрожали.

– Простите, – сказала Ульяна. – Простите меня. Я не хотела.

– Ничего. Я понимаю. – Он слабо улыбнулся. – Я бы на вашем месте, наверное, тоже. Давайте присядем. Вот, у меня скамья.

Скамьи не было. Был порог избы, такой же серый, как все пороги. Учитель сел на него, положив трость поперёк колен, а Ульяна осталась стоять. Сесть она не могла. Её колотило.

– Расскажите. Всё. По порядку.

– По порядку, – повторил Аристарх Филиппович и кивнул, будто ему дали задание. – Хорошо. Позавчера. Это было, по моим подсчётам, за одну ночь до вашего появления. Туман только начинал темнеть. Я, как обычно, совершал вечерний обход. Я, знаете ли, каждый вечер обхожу улицы. Смотрю, кто новый, кто ушёл. Учёт.

– Да. Дальше.

– На крайней улице, той, что ближе к воде, ниже по течению, я встретил мальчика. Он шёл один, по самому краю отмели. Босиком. В пижаме. Синей, фланелевой, с маленькими лошадками. – Учитель поднял глаза. – Вы сказали, что ваш мог быть в пижаме с лошадками. Это меня и поразило. Я сразу вспомнил.

Ульяна зажала рот ладонью.

– Он был худой, очень худой. Голова стриженая, совсем коротко, почти наголо. Знаете, как бывает после болезни. Глаза большие, тёмные. Он увидел меня, остановился и спросил: «Дяденька, а вы мою маму не видели?» Я спросил, как маму зовут. Он сказал: «Ульяна». Я спросил, как его зовут. Он сказал: «Гриша Сабуров». Я записал. В уме, разумеется.

– Это он, – прошептала Ульяна. – Это он.

– Я предложил отвести его к перевозчику. Знаете, детям лучше не задерживаться. Им тяжело здесь, хотя они этого и не чувствуют. Но он отказался. Сказал, что ему надо дождаться маму, она обещала прийти. Я отвёл его к себе. Он сидел вот здесь, на пороге, и пел.

– Пел?

– Пел. Тихонько. Какую-то песенку. Детскую. Я не все слова разобрал. Про кота. Кот поехал на трамвае, кажется, и забыл купить билет.

Ульяна опустилась на корточки прямо там, где стояла. Ноги не держали.

– «Кот поехал на трамвае, – сказала она шёпотом, – а билетик не купил. Контролёр его поймает, а он лапкой: я забыл».

Учитель смотрел на неё с изумлением.

– Да. Именно так. Вы знаете эту песню?

– Это он её придумал, – сказала Ульяна. – Гриша. В четыре года. Её никто, кроме нас, не знал. Никто. Мы с ним её вдвоём пели, когда ехали в больницу на автобусе.

Она закрыла лицо руками. Её трясло так сильно, что стучали зубы. Фролка присел рядом и неловко погладил её по спине. Ладонь у него была холодная, но Ульяна была благодарна ему за эту ладонь.

– Что было дальше? – спросила она сквозь пальцы.

– Дальше, – учитель вздохнул, – я, к стыду своему, ненадолго отлучился. Пошёл к соседу, Петру Савельевичу, спросить, не слышал ли он о женщине по имени Ульяна. Вернулся, а мальчика нет. Я искал. Обошёл всю улицу. Спрашивал. Никто не видел, как он ушёл. Только Клавдия Ивановна, вы её, наверное, встретили, сказала, что видела, как он шёл к воде. Вниз по течению.

– Вниз, – повторил Фролка, и Ульяна, даже не глядя на него, почувствовала, как дёрнулась на её спине его ладонь.

– Вниз, – подтвердил учитель. – Это меня, признаться, обеспокоило. Туда никто не ходит. Там, говорят, нехорошо.

– Что там? – спросила Ульяна, отняв руки от лица.

– Не знаю. Говорят разное. Я не проверял. Я, знаете ли, трус. Всегда был.

Ульяна поднялась. Ноги всё ещё дрожали, но она стояла.

– Я пойду туда.

– Тётенька, нет, – быстро сказал Фролка. – Не надо.

– Почему?

– Дядька не велит. Туда нельзя.

– Почему нельзя?

Фролка замялся.

– Нельзя, и всё, – сказал он, глядя в сторону. – Там вода другая. Чёрная. Там туман другой.

– Ты там был?

– Нет! – слишком быстро ответил мальчик. – Нет, не был. Мне Старица говорила.

Ульяна посмотрела на него внимательно. Он не поднимал глаз. Пятно на его рубахе высохло, но след остался: чуть темнее, чем вокруг, неровный круг на груди.

– Хорошо, – сказала она. – Тогда сначала я спрошу других. Если кто-то ещё его видел, я хочу знать. Аристарх Филиппович, вы со мной?

– Разумеется. – Учитель поднялся, опираясь на трость. – Почту за честь.

Они пошли по улицам. Аристарх Филиппович шёл впереди, постукивая тростью, и стучался в каждую дверь. Не кулаком, а набалдашником трости, деликатно, три раза. «Прошу прощения. Звягин. Учитель. Не видели ли вы мальчика лет семи, в синей пижаме?» Кто-то не отвечал. Кто-то выглядывал и мотал головой. Кто-то, наоборот, выходил на порог и долго смотрел на Ульяну, на пар, идущий от неё, и забывал, о чём его спросили.

Женщина в старинном сарафане, та самая, что вчера смотрела вслед, сказала, что видела. Мальчик проходил мимо её избы и пел. Она запомнила песню, потому что песни здесь редкость. Пел он хорошо, звонко, только как-то… Она поискала слово и не нашла.

– Как? – настаивала Ульяна. – Как пел?

– Ровно, – сказала женщина в сарафане. – Будто не сам пел, а будто в нём пело. Ты не обижайся, касатка. Я так увидела.

Ульяна не обиделась. Она не поняла.

Старик в шинели без погон, тот, что вчера спрятался от неё, на этот раз вышел сам и сказал, что видел мальчика у воды. Мальчик стоял на краю отмели и смотрел вниз по течению. Долго. Потом кто-то позвал его оттуда, из тумана.

– Кто? – спросила Ульяна.

– Не разглядел. Голос был мужской. Говорил, значит: «Пойдём, Гришенька, мамка там ждёт». И мальчонка пошёл.

– По воде?

– По отмели. Вдоль воды. Там, где туман гуще.

– А голос какой был?

Старик подумал.

– Ласковый, – сказал он. – Ласковый такой. Как у попа на исповеди. Мне не понравился.

Ульяна стояла посреди серой улицы и смотрела вниз по течению. Туман там был гуще, это правда. И темнее. Она вчера видела, как в ту сторону бежал Фролка, и у него что-то светилось под рубахой.

Кто-то позвал её сына. Кто-то, у кого ласковый голос. Кто-то, кто сказал, что мама там ждёт.

– Аристарх Филиппович, – сказала она, не оборачиваясь. – А дети здесь часто пропадают?

– Нет, – ответил учитель. – Дети здесь не пропадают. Дети здесь не задерживаются. Это первый раз на моей памяти.

К пристани они вышли не сразу. На отмели, у самых мостков, ожидающих стало так много, что пройти можно было только боком, протискиваясь между спинами. Здесь уже не сидели тихо, как утром. Здесь переговаривались, и в голосах было то, что Ульяна слишком хорошо знала по приёмным покоям: глухое, нарастающее раздражение людей, которые долго ждут и не понимают почему.

– Сколько можно, – говорил мужчина в спортивном костюме, ни к кому не обращаясь. – Сколько можно. Сказали, паром, значит, паром. Где паром?

– Вон стоит, – отвечала ему женщина в больничной рубашке.

– Стоит. А почему не везёт?

– А я знаю?

– Это она, – сказал кто-то сзади, негромко, но так, что услышали все. – Живая. Из-за неё стоим.

Ульяна почувствовала, как вокруг стало тише. Десятки лиц повернулись к ней. В этих лицах не было злости, ещё не было, но было что-то хуже злости: обида. Так смотрят на того, кто влез без очереди.

– Это правда? – спросила женщина в больничной рубашке. Голос у неё был слабый, хриплый, будто она и после смерти не отдышалась. – Из-за вас?

Ульяна могла бы соврать. Могла бы промолчать. Она сказала:

– Да. Кажется, да. Простите. Я не хотела сюда попасть. Я пытаюсь уйти.

– Так уходите, – сказал мужчина в спортивном костюме.

– Не могу. Пока не могу.

– А нам что делать?

– Ждать, – сказал Аристарх Филиппович, выступив вперёд и подняв трость, как указку. – Ждать, господа. Как все ждут. Здесь, знаете ли, никто никуда не опаздывает. Здесь опаздывать некуда.

Кто-то хмыкнул. Кто-то отвернулся. Мужчина в спортивном костюме сплюнул на пепел, и плевок тут же исчез, будто его и не было.

– Шестьдесят лет ждёшь, дед, вот и привык, – сказал он. – А я не привык.

– Привыкнете, – мягко сказал учитель. – Это, увы, неизбежно.

Они прошли к мосткам. Ульяна спиной чувствовала взгляды. Фролка шёл рядом с ней, вплотную, будто закрывал собой, хотя закрыть ничего не мог: он был ей по плечо.

– Не бойтесь их, – прошептал он. – Они не тронут. Тут никто никого не трогает.

– Я не боюсь, – сказала Ульяна. Это была неправда. Она боялась. Не того, что тронут. Того, что они правы.

Онисима они нашли на пароме. Он стоял на корме, у будки, и что-то делал с коробом: поворачивал его, разглядывал днище, проводил пальцами по щелям. Увидев Ульяну, он выпрямился.

– Нашла? – спросил он.

– Он был здесь, – сказала Ульяна. – Позавчера. Гриша. Аристарх Филиппович его видел. Тот пел нашу песню. Нашу, понимаете? Которую никто не знает. А потом кто-то позвал его из тумана, и он ушёл. Вниз по течению.

Онисим ничего не ответил. Он смотрел не на неё, а на учителя, стоявшего на мостках.

– Правда, Аристарх Филиппович?

– Правда, Онисим. Я сам слышал, как пел. А про голос рассказал Тихон Матвеевич, из шинельных.

– Позавчера, – повторил Онисим. – За ночь до неё.

– Да.

– А до этого? Раньше его видели?

Учитель покачал головой.

– Раньше нет. Я бы помнил. Детей я помню.

Онисим опустил короб на доски. Медленно вытер руки о штаны. Ульяна видела, что он думает, и что думать ему трудно, как трудно поднимать то, что давно лежит без движения.

– Не может быть, – сказал он наконец.

– Почему?!

– Потому что два года. Он прошёл два года назад. Не мог он позавчера прийти.

– А если не прошёл? Если он два года где-то был? Если его кто-то держал?

– Где? Тут негде держать. Тут одна отмель, деревня и паром.

– А там? – Ульяна показала вниз по течению. – Что там? Все говорят «туда нельзя», «там нехорошо». Фролка говорит, там вода чёрная. Что там, Онисим?

Онисим долго не отвечал. Фролка, стоявший у края мостков, вдруг очень заинтересовался собственными пальцами.

– Остров там, – сказал Онисим. – Говорят.

– Какой остров?

– Не знаю. Я не плавал. Паром ходит поперёк, не вдоль. Туда, на тот берег, и обратно. Вдоль я никогда не ходил. Не надо было.

– Но кто-то там живёт?

– Говорят, те, кто воду не выпил. Выплюнул. – Он помолчал. – Недопитые. Так Старица зовёт.

– И что они делают?

– Не знаю, – сказал он. – Не знаю. Я не плавал.

Ульяна шагнула к нему вплотную. Они стояли так близко, что её пар касался его лица, и он не отстранился.

– Тогда поплыли, – сказала она. – Сейчас.

– Река стоит.

– Вы сами сказали: туда стоит. А обратно ходит. Может быть, и вниз ходит. Вы же не пробовали.

– Не пробовал, – согласился он.

– Так попробуйте!

– Нельзя.

– Почему нельзя?!

Онисим поднял руку и показал на отмель, на пристань, на сидящих у воды мёртвых. Их стало ещё больше. Ульяна не считала, но, наверное, уже за пятьдесят. И выпившие на пароме: двадцать с лишним лёгких пустых лиц.

– Они ждут, – сказал он. – Я перевозчик. Я их вожу. Если я уйду вниз и не вернусь, их некому будет возить.

– Вы их и так не возите! Река стоит!

– Сегодня стоит. Завтра, может, пойдёт.

– Не пойдёт! – Ульяна почти кричала. – Не пойдёт, пока я здесь! Вы сами сказали! Значит, чем быстрее я уйду, тем быстрее вы их повезёте. А я не уйду без памятки. А моя памятка, может быть, там же, где Гриша. Внизу. У тех, кто воду выплюнул.

Онисим замер.

– Почему ты так думаешь?

Ульяна осеклась. Она посмотрела на Фролку. Мальчик стоял на мостках и смотрел на неё большими испуганными глазами, и губы у него беззвучно шевелились, будто он просил о чём-то. Ульяна отвернулась.

– Потому что больше негде, – сказала она. – Вы сами сказали: тут одна отмель, деревня и паром. На пароме её нет. В деревне, наверное, тоже. Значит, остаётся только остров.

Онисим долго смотрел на неё. Потом перевёл взгляд на Фролку. Потом снова на неё.

– Завтра, – сказал он. – Утром. Если река даст, поплывём.

– Почему не сейчас?

– Потому что ночь. – Он кивнул на туман. Туман и правда темнел, опускался, тяжелел. – Ночью вниз не ходят. Даже я знаю.

– Но мой сын там один!

– Если он там, – сказал Онисим, – он там уже две ночи. Ещё одну проживёт. А ты, если поплывёшь ночью, можешь не проплыть.

Это было жестоко. И это было правдой. Ульяна стояла, сжав кулаки, и не могла ничего возразить.

– Утром, – повторил Онисим. – Обещаю.

Учитель на мостках деликатно кашлянул.

– Онисим, я, с вашего позволения, тоже поплыву. Если можно. Мне кажется, я могу пригодиться. Я ведь видел мальчика. Я его узнаю.

– Плыви, – сказал Онисим.

Ульяна ушла в свою избу. Огонь в углу горел, маленький, рыжий. Она села рядом и протянула к нему руки. Ей не было холодно, но ей нужно было держаться за что-то.

Она вспомнила, как они пели её в первый раз. Зима, остановка у кинотеатра, автобус опаздывал на двадцать минут. Гриша, четырёхлетний, в шапке с помпоном, замёрз и капризничал, и она, чтобы отвлечь, сказала: «А давай придумаем песню про того, кто тоже ждёт автобус». И он придумал кота. И трамвай вместо автобуса, потому что трамваев в Тотьме нет, а значит, на трамвае интереснее. И контролёра. И «я забыл». Он пел это всю дорогу до больницы, и пожилая кондукторша смеялась так, что не взяла с них за проезд.

Гриша. Здесь. Позавчера. Пел песню про кота.

Она думала о том, что он два года ждал её. Два года ходил по этому серому берегу в своей синей пижаме, босиком, и спрашивал: «Вы мою маму не видели?» Нет. Не два года. Учитель сказал, что раньше его не видели. Значит, он пришёл позавчера. Откуда? Где он был до этого?

И кто его позвал?

Ульяна сидела у огня долго. Туман снаружи совсем почернел. Прибрежье затихло, как затихает больница после отбоя.

Потом она услышала.

Сначала ей показалось, что это шумит в ушах. Потом поняла, что нет. Звук шёл снаружи, издалека, снизу по течению. Тонкий, звонкий, чистый. Детский голос. Он пел, и слова было слышно ясно, будто певший стоял совсем рядом, за стеной.

«Кот поехал на трамвае, а билетик не купил…»

Ульяна вскочила. Ударилась головой о низкий потолок, не почувствовала. Вылетела из избы.

«Контролёр его поймает, а он лапкой: я забыл…»

Голос шёл с воды. С чёрной воды, из чёрного тумана, снизу по течению. Ульяна побежала по отмели. Пепел проваливался под кроссовками, она падала, вставала, бежала снова.

– Гриша! – кричала она. – Гриша! Я здесь! Гриша!

Голос пел. Не отвечал, не прерывался. Пел ровно, звонко, одно и то же, по кругу.

«Кот поехал на трамвае…»

Её схватили сзади. Крепко, за плечи, так, что она не смогла вырваться. Ульяна билась, царапалась, кричала, а её держали, молча, не отпуская.

– Пусти! Пусти меня! Это он! Это Гриша!

– Знаю, – сказал Онисим ей в затылок. – Слышу.

– Тогда пусти!

– Нет.

– Почему?!

Он развернул её к себе. Лицо у него было тёмное в темноте, только глаза блестели.

– Потому что твой сын пел бы тебе, – сказал он тихо. – Он бы звал тебя. А этот поёт, как заведённый. По кругу. Не слышит, что ты кричишь.

Ульяна замерла. Голос пел, ровно, звонко. Не сбиваясь. Не отвечая.

Будто не сам пел, а будто в нём пело.

Она перестала вырываться. Онисим не отпустил её, но держал теперь иначе, не крепко, а бережно, как держат человека, который может упасть. Они стояли вдвоём на краю отмели, у самой воды, и слушали, как из чёрного тумана детский голос поёт песню, которую знали только двое на всём свете. И один из этих двоих стоял здесь и плакал. А второго не было в живых два года.

Песня оборвалась на полуслове, на «лапкой», будто кто-то накрыл певца ладонью. Стало тихо.

Где-то за спиной, у пристани, кто-то тяжело, по-взрослому всхлипнул. Ульяна не обернулась, но поняла, что это Фролка.

Глава 7. Ковш

Огонь утром был с половину ладони. Ульяна смотрела на него долго, сидя на полу, и пыталась вспомнить формулу, по которой в реанимации считают, сколько может продержаться человек с глубокой гипотермией. Формулы не было. Были только случаи, разные, и каждый случай говорил своё. Девочка, провалившаяся под лёд, которую откачали через час. Рыбак, которого нашли живым на вторые сутки. Пьяный мужчина, уснувший в сугробе у подъезда, который умер, хотя его привезли через двадцать минут.

Тело держится, пока в нём есть тепло. Это сказала Старица. А сколько тепла в половине ладони?

Ульяна поднялась, натянула кроссовки без шнурков, затянула потуже армяк и вышла.

Ночь она почти не спала. После того как песня оборвалась, Онисим довёл её до избы, усадил у огня и остался сидеть у двери, на пороге, спиной к ней, лицом к реке. Так он просидел до утра. Ульяна несколько раз открывала глаза и видела его широкую спину в дверном проёме, неподвижную, тёмную на фоне чёрного тумана. Он ничего не говорил, и она ничего не говорила. Только один раз, уже под утро, она спросила:

– Почему вы сказали, что он поёт как заведённый?

И он, не оборачиваясь, ответил:

– Потому что живые так не поют. И мёртвые тоже. Так поёт то, что повторяет за кем-то.

– Как попугай?

– Не знаю, кто это.

– Птица такая. Повторяет слова, не понимая.

– Вот, – сказал он. – Как попугай.

Больше они не говорили. Но Ульяна до самого утра слышала у себя в голове эту песню, сначала Гришиным голосом, настоящим, тем, который помнила, а потом тем, другим, ровным и звонким, и никак не могла решить, какой из них страшнее.

Туман над рекой был светлее, чем вчера. Онисим стоял у мостков и разговаривал с ожидающими. Не разговаривал, вернее, а слушал: перед ним стоял мужчина в спортивном костюме и что-то ему втолковывал, размахивая руками, а за мужчиной стояли ещё человек десять, и все смотрели на перевозчика.

– …не имеешь права, – услышала Ульяна, подходя. – Нас пускай. Сказали, паром. Мы заплатим. Сколько надо, столько и заплатим. Вези.

– Не пойдёт, – говорил Онисим.

– А ты попробуй!

– Пробовал.

– С нами не пробовал!

Онисим помолчал и посмотрел на Ульяну поверх головы мужчины. Она поняла, о чём он спрашивает, и кивнула. Попробовать стоило. Если не выйдет, хотя бы перестанут кричать.

– Хорошо, – сказал Онисим. – Садитесь. Двенадцать человек. Больше не возьму.

Двенадцать набралось сразу, будто они заранее договорились между собой, кто пойдёт первым. Мужчина в спортивном костюме, женщина в больничной рубашке, двое стариков, молодой парень в форме охранника, ещё несколько. Последней поднялась на мостки женщина лет пятидесяти, полная, с крашенными в рыжий цвет волосами и с лицом, на котором застыло странное выражение: не страх, не горе, а что-то вроде упрямой решимости. На ней был домашний халат, поверх него пальто, а на ногах сапоги на каблуках, будто она собиралась куда-то идти и надела первое, что попалось.

Фролка встречал их у короба, говорил свои ласковые слова. Онисим говорил своё «плата». Мёртвые клали руки на крышку, и короб стукал, раз за разом. Мужчина в спортивном

костюме долго не мог заплатить и злился, а потом заплатил, и лицо у него стало спокойнее. Рыжая женщина положила руку на крышку и держала долго. Стукнуло.

– А что я отдала? – спросила она Онисима.

– Не знаю.

– Ну и ладно, – сказала она. – Главное, не то.

– Что не то?

Она посмотрела на него с вызовом.

– Не то, что мне надо.

И прошла к борту.

Ульяна поднялась на паром последней, после Аристарха Филипповича, который всё утро ждал у мостков в своём пальто и при галстуке. Она села на корме у будки. Выпившие сидели у бортов по-прежнему, их было уже двадцать два, и новые садились рядом с ними, косились на их пустые лица и отодвигались.

– Отваливаем, – сказал Онисим.

Фролка втащил мостки. Онисим провёл рукой по доске с затёртыми буквами и упёр шест в дно.

«Тихоня» пошла. Медленно, тяжело, будто нехотя. Отмель поползла назад, избы растворились в тумане. Ульяна смотрела на Онисима, на то, как он работает шестом, ровно, с выдохом, как механизм, и думала, что за триста лет он, наверное, ни разу не сбился с этого ритма.

Рыжая женщина пересела к ней.

– Ты живая, – сказала она. Не спросила, а сказала.

– Да.

– Повезло.

– Не знаю.

– Повезло, – повторила рыжая твёрдо. – Ты ещё можешь вернуться. А я нет. – Она помолчала. – Меня Тамара зовут. Голубцова.

– Ульяна.

– Ты знаешь, что там будет? На середине?

– Ковш, – сказала Ульяна. – Вода. Кто выпьет, всё забудет.

– Всё?

– Я видела тех, кто выпил. – Ульяна кивнула на сидящих у борта. – Они не помнят своих имён.

Тамара посмотрела на выпивших долго и внимательно, как смотрят на витрину магазина, прицениваясь. Потом сказала:

– Я не буду пить.

– Почему?

– Потому что я не хочу забывать. – Тамара повернулась к ней. Глаза у неё были светлые, почти бесцветные, и в них было что-то такое, от чего Ульяна чуть не отодвинулась. – Я мужа убила. Позавчера. Отравила. Двадцать два года он меня бил. Двадцать два года. Я ему насыпала в суп мышьяку, которым дачу травила. Потом сама выпила, что осталось.

Ульяна молчала.

– Ты не думай, я не жалею, – продолжала Тамара. – Я про него не жалею. Я про дочку жалею. Ей двадцать. Она в Ярославле учится. Она теперь одна, и про мать будут говорить, что убийца. Вот это я не хочу забывать. Её не хочу забывать. Я, может, перед ней не виновата, а может, виновата. Я ещё не решила. Мне подумать надо. А тут сразу: пей, и всё.

– Может быть, так легче, – тихо сказала Ульяна.

– Легче, – согласилась Тамара. – Легче всегда. Я двадцать два года легче делала. Молчала, терпела. Легче. Хватит.

Она отвернулась и стала смотреть в туман.

Ульяна не знала, что сказать. Она сидела в хосписе с самыми разными людьми, и с теми, кто каялся, и с теми, кто не каялся, и знала, что в такие минуты лучше не говорить ничего. Человек сам решит. Человек всегда решает сам, даже когда кажется, что за него решают другие.

Аристарх Филиппович подсел к ней с другой стороны, аккуратно подобрав полы пальто.

– Вы простите, сударыня, я невольно слышал, – сказал он вполголоса. – Не судите её строго.

– Я не сужу.

– Я вижу. Вы, должно быть, многих провожали.

– Многих.

Учитель кивнул и некоторое время молчал, глядя на свои ботинки, начищенные до блеска. Потом сказал:

– Я ведь тоже не пил. Шестьдесят два года назад. Меня привезли сюда, на середину, и Онисим протянул мне ковш, а я сказал: «Позвольте, я сойду обратно. Мне нужно дождаться жену». И он отвёз меня обратно. Без единого слова. Я тогда думал, что вернусь к ковшу через неделю. Лидочка должна была скоро прийти, у неё было больное сердце.

– Вы поссорились? – спросила Ульяна.

– Из-за пустяка. – Учитель грустно усмехнулся. – Как всегда, из-за пустяка. Она хотела поехать летом к сестре в Кисловодск, а я хотел на дачу, копать картошку. Я сказал ей, что она транжира и думает только о себе. Она сказала, что я сухарь и что тридцать лет она живёт с сухарём. Я хлопнул дверью и ушёл в школу. Проверять сочинения. А на уроке у меня остановилось сердце. Прямо у доски. Я писал на доске «Образ лишнего человека в русской литературе». Дописал до «лишнего».

Он помолчал.

– Последнее, что я ей сказал, было «транжира». Тридцать лет брака, и последнее слово «транжира». Вы понимаете, почему я не могу пить? Если я выпью, я забуду, что виноват. А она, может быть, до сих пор помнит. Это нечестно.

– А если она пришла и выпила? Давно?

– Тогда, – тихо сказал Аристарх Филиппович, – тогда я жду напрасно. Но я об этом стараюсь не думать. Учителю, знаете ли, свойственно надеяться, что ученики когда-нибудь всё-таки выучат урок.

Онисим перестал толкать. Паром медленно, по инерции, прошёл ещё немного и встал.

– Середина, – сказал он.

Он отложил шест, пошёл к будке и снял ковш с крюка. Ульяна впервые видела ковш так близко. Он был тёмный, почти чёрный от времени, вырезанный из цельного куска дерева, с длинной ручкой, на которой остались вмятины от пальцев. Чьих пальцев? Его? Прежнего перевозчика? Тех, кто был до прежнего?

Онисим зачерпнул воды. Вода в ковше была серая, мутная, как вода, в которой мыли кисти. От неё ничем не пахло.

– Пейте, – сказал он. – По глотку. Кто выпьет, тот увидит берег.

Первым встал мужчина в спортивном костюме. Он подошёл к ковшу, взял его обеими руками и сделал большой жадный глоток. Постоял. Лицо у него медленно разгладилось, будто кто-то провёл по нему ладонью, стирая злость, обиду, усталость. Он отдал ковш, сказал «спасибо» лёгким чужим голосом и сел у борта рядом с выпившими.

За ним пошли остальные. Женщина в больничной рубашке. Старики. Парень-охранник. Каждый пил, каждый стихал, каждый садился. Аристарх Филиппович, который не пил, а только смотрел, стоял у будки, сняв шляпу, и шевелил губами. Ульяна догадалась: записывает. Кто прошёл.

Последней осталась Тамара.

Онисим протянул ей ковш. Она смотрела на него, не двигаясь.

– Пейте, – сказал Онисим.

– Нет.

– Надо.

– Я сказала, нет.

Онисим не настаивал. Он стоял с ковшом в протянутой руке и ждал. Тамара смотрела на воду в ковше, и Ульяна видела, как у неё дрожат губы.

Впереди не светлело. Туман стоял ровный и плотный, как стена. Двенадцать новых выпивших сидели вдоль бортов рядом с двадцатью двумя старыми, и все смотрели вперёд, туда, где должен был проступить берег, и ничего не видели.

– Вот, – сказала Тамара, и голос у неё сорвался. – Вот видишь. Они выпили, а берега нет. Зачем пить, если берега нет?

– Будет, – сказал Онисим.

– Когда?

Он не ответил.

И тогда Ульяна услышала голоса.

Они шли снизу по течению, из того тумана, что был гуще и темнее, и сначала были похожи на шорох, на шелест камыша. Потом разделились, стали различимы. Много голосов, мужских, женских, тихих, ласковых.

«Не пей, Тамарочка».

Тамара вздрогнула.

«Не пей, милая. Зачем тебе забывать? У нас не забывают. У нас всё твоё при тебе. И дочка твоя, и обида твоя, и правда твоя. Иди к нам. Мы тебя ждём».

– Кто это? – прошептала Тамара. – Откуда они меня знают?

– Не слушай, – сказал Онисим, и голос у него стал жёстким, каким Ульяна его ещё не слышала. – Пей.

«Не пей, Тамарочка. Он тебе скажет, что так надо. Так надо ему. Ему надо, чтобы ты забыла. Тогда тебя легко везти. А ты не забывай. Ты помни. У нас помнят».

Тамара медленно поднялась. Взяла ковш из рук Онисима. Онисим отпустил его, и Ульяна видела, что он не хотел отпускать, но отпустил. Своей волей. Всё здесь своей волей.

Тамара поднесла ковш к губам. Набрала воды в рот.

И выплюнула. За борт, длинной серой струёй.

– Вот вам, – сказала она хрипло. – Вот вам ваша вода.

Ковш выпал у неё из рук, ударился о доски и покатился. Онисим нагнулся за ним. А Тамара шагнула к борту, перешагнула через ноги сидящих выпивших, никто из них даже не пошевелился, и прыгнула в воду.

– Стой! – крикнул Онисим.

Ульяна бросилась к борту. Тамара была в воде, и вода её держала. Мёртвых, оказывается, вода держала: Тамара не тонула, а плыла, неловко, по-собачьи, в пальто и в халате, вниз по течению, туда, откуда шли голоса. Её рыжие волосы мелькали в сером тумане, как огонёк.

Онисим схватил шест и протянул его в воду.

– Хватайся! Хватайся!

Тамара не обернулась. Шест не доставал. Она плыла всё дальше, и туман смыкался за ней.

«Молодец, Тамарочка, – пели голоса. – Молодец, милая. Плыви к нам. Мы тебя встретим».

Рыжий огонёк мигнул в последний раз и пропал.

Голоса стихли. Не сразу, постепенно, растворяясь в тишине, как растворяется эхо. Последним стих один голос, мужской, тот, что был ласковее всех. Ульяна запомнила его. Он сказал, напоследок, отчётливо, будто нарочно, чтобы услышали:

«Здравствуй, Онисим. Давно не виделись».

На пароме стало тихо. Выпившие сидели у бортов, ничего не заметив. Аристарх Филиппович стоял у будки бледный, со шляпой в руках. Фролка сидел на корточках у короба, обхватив колени, и не поднимал головы.

Онисим стоял у борта с шестом и смотрел вниз по течению.

– Вы его знаете? – спросила Ульяна. – Этот голос?

– Нет, – сказал Онисим.

Но он сказал это не так, как говорил «не знаю» все эти дни. Он сказал это так, как говорят «нет», когда очень хотят, чтобы это было правдой.

Ульяна подняла ковш с досок. Он был тяжёлый, тёплый от рук. Она протянула его Онисиму, и он взял, не глядя.

– Онисим, – сказала она. – Река стоит. Туда стоит. А вниз?

Он долго молчал. Потом повесил ковш на крюк, вернулся к шесту и упёр его в дно. Не прямо, а наискосок, к течению.

Толкнул.

Паром дрогнул и пошёл. Легко. Будто только этого и ждал.

Вниз.

– Дядька! – вскрикнул Фролка, вскакивая. – Дядька, не надо! Туда не надо!

– Почему? – спросил Онисим, не оборачиваясь.

– Потому что… потому что… – Фролка задыхался. – Потому что там нельзя! Ты сам говорил! Ты сам говорил, вниз не ходят!

– Говорил, – согласился Онисим. – Не ходили. Теперь пойдём.

– Дядька, пожалуйста!

Онисим обернулся. Посмотрел на мальчика. Долго, внимательно, так, как, кажется, не смотрел на него никогда за все девяносто лет.

– Фрол, – сказал он. – Ты чего боишься?

Фролка открыл рот и закрыл. Потом сел на доски и снова обхватил колени. И ничего не сказал.

Ульяна смотрела на мальчика, на мокрый след на рубахе, на белые вихры, и думала, что знает, чего он боится. Почти знает. Но не скажет. Не сейчас. Пусть скажет сам.

Паром шёл вниз по течению. Вода вокруг становилась темнее, и туман тоже, и в тумане, далеко впереди, Ульяна вдруг увидела огни. Слабые, мерцающие, желтоватые, как свечи в окнах. Много огней. Будто там, впереди, стоял целый город, и в каждом окне горела свеча.

– Онисим, – сказала она тихо. – Там свет.

– Вижу.

– Это остров?

– Наверное.

– И Гриша там?

Онисим не ответил. Он толкал шест, ровно, с выдохом, и паром шёл, и огни впереди становились ярче.

Вода за бортом изменилась. Ульяна заметила это, когда наклонилась посмотреть. Серая муть, к которой она уже привыкла, сменилась чем-то тёмным и густым, похожим на крепкий остывший чай. Шест Онисима входил в неё с трудом, и, когда он вытаскивал его, с конца шеста стекали тягучие чёрные капли, медленно, как смола.

– Это что? – спросила Ульяна.

– Не знаю, – ответил Онисим. – Я тут не был.

– Это то, что выплюнули, – вдруг сказал Фролка с кормы. Голос у него был тонкий и сиплый. – Все, кто не выпил. Столько лет плевали, вот она и почернела.

Онисим медленно обернулся к нему.

– Откуда знаешь?

Фролка вжал голову в плечи.

– Старица говорила.

– Старица со мной двести лет так не говорила, как с тобой, выходит.

Мальчик промолчал. Онисим ещё мгновение смотрел на него, потом отвернулся и снова взялся за шест. Ульяна видела, как напряглась его спина. Он понимал. Не хотел понимать, но понимал. Она знала это выражение спины: так выглядят родственники в коридоре, которые уже прочитали всё по лицу врача, но ещё ждут, что он скажет вслух.

С воды потянуло запахом. Впервые за всё время, что Ульяна была здесь, у реки появился запах: горький, тяжёлый, похожий на запах мокрой гари после пожара. На борту зашевелились выпившие. Им было всё равно, куда плыть, но запах они, кажется, чувствовали. Старуха в пуховом платке сморщила нос и сказала ласково, ни к кому не обращаясь: «Ой, а что это у нас подгорело?»

Аристарх Филиппович надел шляпу, поправил очки и встал рядом с Ульяной у борта.

– Знаете, сударыня, – сказал он негромко, – я шестьдесят два года хотел узнать, что там, внизу. И шестьдесят два года боялся. А теперь мне почему-то не страшно. Наверное, потому что вы рядом. Живые, знаете ли, заразительны.

Ульяна попыталась улыбнуться ему и не смогла. Она смотрела на огни впереди, на их неровное, дрожащее мерцание, и думала, что в хосписе по ночам так же мерцают лампочки над дверями палат, когда кто-то нажимает кнопку вызова. Каждая лампочка значила, что кому-то плохо, что кто-то зовёт. Здесь огней было сотни. И она не знала, кто зовёт и кого.

Глава 8. Остров в тумане

Огни приближались медленно, так медленно, что Ульяне казалось, будто это не паром идёт к ним, а они сами, лениво, нехотя, выплывают из тумана навстречу. Сначала это были просто жёлтые точки, рассыпанные в темноте без всякого порядка. Потом точки стали пятнами, пятна обрели края, и Ульяна поняла, что это окна.

Остров был низкий, плоский, весь заросший чем-то тёмным, похожим на камыш, только стебли были толще и не шевелились. Над камышом поднимались крыши. Не серые, как на Прибрежье, а чёрные, будто обугленные, и стены под ними тоже чёрные, с потёками, как у избы, которая горела, но не сгорела. И в каждой стене было окно. Здесь, в отличие от Прибрежья, в каждой избе были окна, маленькие, неровные, прорубленные кое-как, и в каждом окне горел свет.

– Это свечи? – спросила Ульяна.

Никто не ответил. Онисим перестал толкать шест и держал паром на месте, упершись в густую чёрную воду. Аристарх Филиппович стоял рядом с Ульяной у борта, сжав набалдашник трости обеими руками. Фролка сидел на корме у будки и не поднимал головы.

Ульяна присмотрелась. Свет в окнах был не похож на свечной. Он не дрожал, как пламя, а пульсировал, медленно, мягко, то разгораясь, то притухая, как дыхание спящего. И цвет у него был разный: в одном окне медовый, в другом голубоватый, в третьем розовый, как утро. Ульяна уже видела такой свет. Вчера. В Кладовой.

– Онисим, – сказала она. – Это памятки. В окнах. Они светятся, как ваши, на полках.

Он долго смотрел на остров.

– Да, – сказал он наконец. – Вижу.

– Сколько их там?

– Не знаю. Много.

Ульяна начала считать окна и сбилась на сотне. Изб было больше, чем она могла охватить взглядом, они уходили вглубь острова, за камыш, и там тоже светились окна, слабее, дальше. Она вспомнила дырки на полках в Кладовой. Сорок с чем-то, сказала она себе тогда, и перестала считать. Сколько их было на самом деле? Сколько за девяносто лет?

– Это ваши, – сказала она тихо. – Это ваши памятки, Онисим. Те, что пропали.

Он не ответил, но Ульяна увидела, как побелели костяшки его пальцев на шесте.

У острова была пристань. Такая же, как на Прибрежье, только тоже чёрная, с покосившимися сваями, уходящими в чёрную воду. На пристани стояли люди. Сначала Ульяна приняла их за ожидающих, таких же, как на отмели, но потом разглядела и отступила от борта.

Они были другие.

На Прибрежье мёртвые были бледные, тихие, приглушённые, как старая фотография. Здесь они были яркие. Слишком яркие. Лица у них были румяные, глаза блестели, губы шевелились, будто они всё время что-то шептали сами себе. Одеты они были во что попало, во всё сразу: женщина в бальном платье поверх ватника, мужчина в военном кителе с чужими орденами, нацепленными как попало, старик с тремя шапками на голове, одна поверх другой. И у каждого в руках что-то было. Они прижимали это к груди, к щекам, к губам, гладили, баюкали, и между пальцами у них пробивался свет. Медовый. Голубой. Розовый.

– Они их держат, – прошептала Ульяна. – Голыми руками. Они живут в чужих воспоминаниях.

– Не только в чужих, – сказал Аристарх Филиппович. Голос у него дрожал. – Посмотрите. Вон.

Ульяна посмотрела туда, куда он показывал. У края пристани стояла Тамара. Рыжие волосы, мокрое пальто поверх халата, сапоги на каблуках. Кто-то накинул ей на плечи одеяло,

пёстрое, лоскутное. В руках у Тамары был камешек, розоватый, и она прижимала его к лицу и улыбалась. Улыбка у неё была счастливая и страшная одновременно, как у человека, который смеётся во сне.

– Что она держит?

– Не знаю, – сказал учитель. – Но, судя по лицу, что-то о дочери.

– Своё?

– Своё она отдала в короб. Вы же видели.

Значит, чужое, подумала Ульяна. Чьё-то чужое воспоминание о чьей-то чужой дочери. И Тамара прижимает его к лицу и улыбается.

Из-за спин стоящих на пристани вышел человек.

Он был высокий, выше всех на пристани, и очень худой. Одет он был в длинный тёмный кафтан, старинный, до колен, подпоясанный кушаком, и в сапоги с отворотами. В руке у него был фонарь, старый, жестяной, с мутными стёклами, и в фонаре горел не огонь, а такой же пульсирующий свет памятки, только белый, холодный, почти синий. Лица Ульяна не разглядела: фонарь светил снизу, и всё, что она видела, это длинный подбородок, узкий рот и тени на месте глаз.

Стоящие на пристани расступились перед ним так же, как мёртвые на Прибрежье расступались перед Старицей. Только не склонили головы, а наоборот, подняли, потянулись к нему, как цветы к солнцу.

Человек вышел на край пристани, поднял фонарь выше и сказал:

– Онисим.

Это был тот самый голос. Ласковый. Как у попа на исповеди.

Онисим не ответил.

– Ну что же ты, – сказал человек на пристани. – Не узнаёшь? Триста лет, конечно, срок. Я бы тоже не узнал. Но я тебя узнал. Ты почти не изменился. Только постарел немного. Здесь все стареют, даже те, кто не стареет.

– Кто ты? – спросил Онисим. Голос у него был хриплый.

– Неважно. Ты не помнишь, и правильно. Ты отдал. Я помню за тебя. – Человек на пристани улыбнулся, и Ульяна разглядела зубы, ровные, белые, слишком белые для этого места. – Причаливай, Онисим. Гостем будешь. У нас тепло. У нас светло. У нас помнят.

– Нет.

– Жаль. – Человек пожал плечами и перевёл фонарь чуть в сторону. Белый свет упал на Ульяну, и она зажмурилась. – А ты, значит, Ульяна. Здравствуй, Ульяна. Я тебя ждал.

– Где мой сын? – крикнула она.

– У меня в гостях. – Человек снова улыбнулся. – Сидит в тепле. Поёт. Хорошо поёт. Про кота.

– Отдайте его!

– Отдам. Конечно, отдам. Я же обещал. – Он помолчал, будто наслаждаясь паузой. – Ты разве не помнишь? Я обещал тебе, что сын будет с тобой. Ты пришла. Он здесь. Причаливай, и вы будете вместе. Всё честно.

Ульяна похолодела. Не от слов, а от того, как он их сказал. «Я обещал тебе». Будто они разговаривали. Будто она с ним о чём-то договаривалась.

– Я вас не знаю, – сказала она. – Я никогда вас не видела.

– Видела, – ласково сказал человек. – Не глазами. Ушами. Ты сидела у постели старика, а я говорил с тобой его ртом. Ты мне поверила. Ты сделала всё, как я сказал. Медь взяла. В воду легла. А потом отдала дорогу в короб, как я велел. И забыла. Ну, это не беда. Я помню за тебя. Я за всех помню.

– Это ложь.

– Проверь, – сказал человек. – Причаливай и проверь.

Ульяна шагнула к борту. Сама не поняла, как. Ноги пошли сами. Чья-то рука схватила её за локоть: Аристарх Филиппович. Его лёгкие холодные пальцы держали слабо, она могла бы вырваться одним движением. Она не вырвалась.

– Сударыня, – прошептал учитель. – Не надо. Он сейчас говорит, как говорил Тамаре. Я слышал. Я узнаю интонацию. Это интонация завуча, который хочет, чтобы вы подписали бумагу, не читая.

И тут паром дёрнуло.

Ульяна не удержалась на ногах и упала на колени. Онисим выругался, коротко и непонятно, на каком-то старом языке, и налёг на шест. Паром дёрнуло снова. Его тянуло к острову, к чёрной пристани, будто под днищем кто-то держал верёвку и медленно выбирал её. Вода вокруг забурлила, тягуче, медленно, чёрными пузырями.

А выпившие, сидевшие у бортов, начали вставать.

Они вставали все разом, тридцать с лишним человек, лёгкие, пустые, и шли к борту, обращённому к острову. Не быстро, не торопясь, спокойно, как идут к выходу из автобуса на своей остановке. Старуха в пуховом платке. Мужчина в спортивном костюме. Девушка в одной туфле. Они подходили к борту и смотрели на пульсирующие окна, и на их пустых лицах появлялось что-то. Интерес. Голод. Тоска по тому, чего у них больше нет.

– Стойте! – крикнула Ульяна. – Сядьте!

Никто не обернулся.

– Фрол! – рявкнул Онисим. – Держи их!

Фролка вскочил и бросился к борту. Он хватал выпивших за руки, за полы одежды, оттаскивал, но их было слишком много, а он был слишком лёгкий. Ульяна бросилась помогать. Она схватила за плечи старуху в платке и потянула от борта.

– Бабушка, нельзя, бабушка, сядьте!

– Там светло, деточка, – ласково сказала старуха, не сопротивляясь, но и не отходя. – Там тепло. Там, наверное, есть что вспомнить.

– Вы уже всё отдали! Вам туда не надо!

– Может, и не надо, – согласилась старуха и сделала шаг к борту.

Онисим бросил шест. Он перешагнул через доски к будке, сорвал с крюка ковш, перегнулся через борт и зачерпнул. Не чёрной воды, а той, что ещё оставалась серой у самого борта, тонкой струйкой. Выпрямился и плеснул из ковша на выпивших. Широко, веером.

Капли попали на лица. На старуху в платке, на мужчину в спортивном костюме, на девушку в одной туфле. И те, на кого попало, остановились. Постояли. Лица у них снова разгладились, стали пустыми и лёгкими. И они повернулись и пошли обратно, к своим местам у бортов.

Онисим зачерпнул снова. Плеснул. Ещё раз. Пока все тридцать четыре не вернулись на свои места и не сели.

– Ай, Онисим, – донеслось с пристани с весёлым упрёком. – Ну зачем же так. Пусть бы шли, раз им хочется. Это ведь их воля.

– Не их, – сказал Онисим, не оборачиваясь. – Твоя.

Он бросил ковш на доски, схватил шест и упёрся им в чёрное дно. Упёрся всем телом, всем весом, со стоном, какого Ульяна от него ещё не слышала. Паром перестал дёргаться. Застыл. Потом медленно, тяжело, по сантиметру, пошёл назад. Против того, что его тянуло.

– Мы ещё увидимся! – крикнул человек на пристани. – Ульяна! Ты ещё придёшь! Ты не можешь не прийти! У меня твоё!

Ульяна обернулась.

– Что у вас?!

Человек поднял руку. Не ту, в которой был фонарь, а другую, свободную. На его ладони лежал камешек. Маленький, тусклый, тёмно-синий, почти чёрный, как ноябрьская вода. И свет от него шёл неровный, рваный, как пульс у умирающего.

– Твоя дорога, – сказал человек. – Я её берегу. Приходи за ней.

И тут Фролка закричал.

Он стоял у борта, вцепившись в доски обеими руками, и кричал, срывая голос, тонко, по-детски:

– Лукьян Ильич! Не надо! Вы же обещали! Вы же обещали, что её не тронете! Вы обещали!

На пароме стало тихо. На пристани тоже. Человек в кафтане опустил руку с камешком. Его лицо, освещённое снизу белым фонарём, на мгновение изменилось. Ульяна не поняла как. Может быть, рот стал ещё уже.

– Фролушка, – сказал он мягко. – Ну что ты кричишь. Иди домой. Мы потом поговорим.

Онисим не остановился. Он толкал шест, раз за разом, с выдохом, со стоном, и паром отходил от острова, медленно, тяжело, как телега, которую тащат в гору. Чёрная вода нехотя отпускала днище. Огни в окнах постепенно уменьшались, сливались в одно жёлтое пятно, потом пятно стало точкой, потом туман сомкнулся, и острова не стало.

Только тогда Онисим опустил шест.

Он стоял, опираясь на него, тяжело дыша. Ульяна никогда не видела, чтобы он дышал. Мёртвые не дышат, говорила она себе всё это время. А он дышал, глубоко, хрипло, как дышит человек после долгой работы. Может быть, он дышал по привычке. Может быть, тело помнило то, чего не помнила голова.

Потом он обернулся к Фролке.

Мальчик стоял у борта, всё так же вцепившись в доски, и смотрел на него. Лицо у него было мокрое. Ульяна не знала, плачут ли мёртвые. Оказалось, плачут.

– Лукьян Ильич, – повторил Онисим. Не вопросом. Просто повторил.

– Дядька… – Фролка задохнулся. – Дядька, я…

– Откуда ты знаешь его имя?

– Старица… Старица говорила. Сказки. Про прежнего перевозчика. Его Лукьяном звали. Лукьян Безродный.

– Безродный, – сказал Онисим. – «Лук». На полке.

Он посмотрел на Ульяну. Она кивнула. Да. Лук. На крайней полке, рядом с перечёркнутым веслом.

– Ты сказал «вы обещали», – медленно произнёс Онисим, снова поворачиваясь к Фролке. – «Вы обещали, что её не тронете». Кто обещал? Кому?

Фролка молчал. Он стоял, вцепившись в борт, и молчал, и слёзы текли по его лицу, и капали на мокрое пятно на рубахе.

– Фрол.

Мальчик помотал головой.

– Не могу, – прошептал он. – Дядька, не могу. Не сейчас. Пожалуйста.

Онисим долго смотрел на него. Ульяна ждала, что он закричит, ударит, схватит мальчишку за шиворот и вытрясет из него правду. Так сделал бы, наверное, любой. Она бы, может быть, и сама так сделала, будь у неё силы. Там, на острове, был её сын. Или то, что называло себя её сыном. И этот мальчик знал больше, чем говорил.

Онисим не закричал. Он отвернулся, взял шест и снова упёрся в дно.

– Домой, – сказал он. – Потом.

Фролка сполз по борту на доски и сжался в комок, обхватив голову руками.

Путь назад был долгим. Ульяна потом не могла сказать, сколько он длился: час, два, целую ночь. Туман вокруг не менялся, вода не менялась, только постепенно светлела, из чёрной

становясь бурой, потом серой, и горький запах гари слабел, пока не исчез совсем. Течение, которое вниз несло паром легко, вверх не пускало. Онисим толкал без остановки, и Ульяна видела, как он устаёт, как всё медленнее переставляет шест, как опускаются плечи. Она не могла помочь, она не умела, и шест был слишком тяжёлым для неё. Она сидела у будки и смотрела на него.

Аристарх Филиппович сел рядом.

– Знаете, сударыня, – сказал он очень тихо, чтобы не услышали другие, – я тридцать восемь лет преподавал в школе. Я видел много детей, которые врали. Это нормально. Дети врут, потому что боятся. Но я видел и других детей. Тех, кто врал не от страха, а потому что их научили врать. Кто-то взрослый. – Он помолчал. – Этого мальчика кто-то научил. Он не умеет врать. Он врёт, как ученик, который вызубрил чужой ответ и не понимает его.

– Я знаю, – сказала Ульяна.

– Не судите его строго.

– Я не сужу. Я его жалею.

– Это правильно, – сказал учитель. – Это, может быть, единственно правильное.

Ульяна посмотрела на Фролку. Мальчик лежал на досках, свернувшись, и не шевелился. Потом посмотрела на Онисима. Он толкал шест.

Человек на острове сказал: «Ты сидела у постели старика, а я говорил с тобой его ртом». Ульяна пыталась вспомнить. Ермолай Петрович, четвёртая палата. Три дня не открывал глаз. Потом открыл. Посмотрел на неё. И…

И она не помнила. Она помнила, как он открыл глаза. Помнила, как смотрел. Дальше было пусто. Не тёмно, а пусто. Вырезанный кусок ленты.

Она поняла, что вырезанный кусок начинается не у плиты с чайником. Он начинается раньше. В палате.

Ульяна вдруг вспомнила, как выглядели глаза Ермолая Петровича, когда он их открыл. Не помнила, что было потом, а это помнила. Глаза были не его. Ермолай Петрович был старый лесник, добрый, тихий, с выцветшими голубыми глазами, которые всегда слезились. А тогда, на четвёртый день, глаза были тёмные. Почти чёрные. И смотрели на неё с интересом, с каким смотрят на вещь в витрине. Она тогда подумала, что это от морфина расширились зрачки. Она медсестра, она знает, как действует морфин.

А теперь она думала, что это были чужие глаза. Глаза человека, которому что-то от неё было нужно.

Когда паром наконец ткнулся в мостки Прибрежья, туман уже совсем почернел. Ночь. Третья. Ульяна сошла на берег, не дожидаясь, пока Фролка спустит мостки, просто перешагнула через борт на доски. Пошла к избе. В избе горел огонь.

Он был с четверть ладони.

Ульяна села рядом и долго смотрела на него. Потом подняла голову, потому что в дверях кто-то стоял.

Онисим. Пригнувшись под низкой притолокой, с опущенными руками.

– Я не знаю его, – сказал он. – Правда. Не помню.

– Я верю.

– Но он меня знает.

– Да.

Онисим помолчал. Потом сказал то, чего Ульяна не ожидала:

– Можно я тут посижу? У огня. Немного.

Она подвинулась. Он вошёл, сел рядом на пол, протянул руки к огню. Ладони у него были огромные, в мозолях, в старых шрамах от верёвок. Огонь осветил их, и Ульяна увидела, что они дрожат.

– Тёплый, – сказал Онисим удивлённо. – Чую. Немножко. Как будто.

– Это хорошо?

– Не знаю, – сказал он. – Триста лет не чуял.

Они сидели так долго. Снаружи было тихо. Фролки нигде не было слышно, и Ульяна подумала, что сегодня он, наверное, не побежит по берегу. Или побежит. Она не знала, что хуже.

Глава 9. Что помнит перевозчик

Они долго молчали. Огонь горел ровно, маленький, с четверть ладони, и тени от него ложились на брёвна стен, и тени Онисима были огромные, до потолка, а тени Ульяны маленькие, сжавшиеся. Снаружи не было ни звука. Прибрежье спало, если мёртвые спят.

– Можно я спрошу? – сказала наконец Ульяна.

– Спрашивай.

– Что вы помните? Совсем первое. Самое раннее.

Онисим долго думал. Ульяна видела, как он хмурится, как двигаются его губы, будто он пробует слова на вкус, прежде чем сказать.

– Шест, – сказал он. – В руках. Мокрый. Я стою на пароме, на этом самом, и держу шест. И руки трясутся. Так трясутся, что шест бьётся о борт. Тук-тук-тук. И я не знаю, где я. И кто я.

– А до этого?

– До этого ничего. Темно. Не темно даже. Пусто.

– Как у меня, – сказала Ульяна. – У меня тоже пусто. Не темно, а пусто. Будто вырезали.

– Вырезали, – согласился Онисим. – Так.

– А дальше? После шеста?

– Дальше голос. – Онисим замолчал. Ульяна смотрела на него, и вдруг увидела, как меняется его лицо. Как оно напрягается, как застывает. – Голос. Сзади. Мужской. Говорит: «Вот и всё. Теперь твоё». И я оборачиваюсь, а там никого. Только туман. И мостки пустые.

– Это был он, – тихо сказала Ульяна. – Лукьян.

Онисим не ответил. Он смотрел в огонь, и Ульяна видела в его глазах рыжие точки.

– Я не узнал, – сказал он наконец. – Сегодня, у острова. Не узнал сначала. Потом он засмеялся. Когда я выпивших водой плеснул. Засмеялся, и я узнал. «Вот и всё. Теперь твоё». Так же. Ласково.

– Он отдал вам паром.

– Выходит, так.

– А сам ушёл. Не на тот берег. На остров.

– Выходит.

– Почему?

Онисим покачал головой.

– Не знаю. Не помню. Я и его не помню. Только голос.

Ульяна обхватила колени руками. Она думала о том, что Онисим, наверное, был таким же, как она. Тоже пришёл сюда, тоже не помнил как. И кто-то ему сказал: «Теперь твоё». И он взял шест, потому что больше ничего не оставалось. И держал его триста лет.

– Онисим, – сказала она. – Старица сказала, что триста лет назад здесь был живой. Один. И что он не вернулся. И что это не её история, а чья-то ещё.

Он медленно повернул к ней голову.

– Ты думаешь…

– Я ничего не думаю. Я спрашиваю.

– Я мёртвый, – сказал Онисим. – Я знаю, что мёртвый. Я не дышу. Мне не холодно. Я не сплю.

– Вы дышали сегодня. Когда толкали паром от острова. Я видела.

Он посмотрел на свои руки. Ладони всё ещё были протянуты к огню, и они всё ещё дрожали, едва заметно.

– Не знаю, – сказал он. – Может, по привычке.

– Может быть.

Она не стала настаивать. Она видела, что ему тяжело, и знала, что, если надавить сейчас, он закроется, как закрываются подопечные, когда разговор подходит слишком близко к тому, о чём они не хотят знать. В хосписе она научилась ждать. Иногда человек сам приходил к главному. Иногда не приходил никогда. И то и другое было его правом.

– А что ещё вы помните? – спросила она по-другому. – Не про то, как пришли. Просто. Что-нибудь своё.

Онисим подумал.

– Плечо болит, – сказал он. – Левое. К туману. Всегда болело. Думаю, ломал когда-то. При жизни.

– Может быть, на пароме? На своём? Там, у себя?

– Может быть. – Он помолчал. – Говор у меня северный. Мёртвые, бывает, узнают. Спрашивают: ты, мол, с Сухоны? С Двины? С Вологодчины? Я не знаю. Говорю, может быть. Один раз дед узнал. Старый совсем, лет сто ему было, наверное. Говорит: ты, говорит, тотемский. Так у нас под Тотьмой окают. Я спросил, откуда знает. Он сказал, сам оттуда.

Ульяна выпрямилась.

– Тотьма?

– Так он сказал.

– Онисим, я из Тотьмы. Я там живу. Там хоспис, где я работаю. Там Сухона. Там… – Она запнулась. – Там, наверное, я и легла в воду.

Они смотрели друг на друга. Огонь потрескивал между ними.

– Совпадение, – сказал Онисим.

– Может быть.

– Тут много кто с Сухоны. Река большая.

– Может быть, – повторила Ульяна. Но она не верила в такие совпадения. В хосписе она видела слишком много вещей, которые невозможно было объяснить, и привыкла не объяснять их, а просто запоминать. Бабушка, которая за сутки до смерти попросила положить ей в гроб синий платок, хотя никто ей не говорил, что она умрёт. Старик, который в последнюю ночь звал по имени жену, умершую тридцать лет назад, и улыбался так, будто она стоит в дверях. Тотьма. Сухона. Онисим. Она запомнила.

– Какая она? – спросил Онисим. – Тотьма. Сейчас.

Ульяна подумала.

– Маленькая. Десять тысяч человек, может, меньше. Стоит на высоком берегу Сухоны. Церкви очень красивые, старые, с завитками, как торты. Их купцы строили, которые ходили за море, в Америку, кажется, и на острова. У нас говорят, что тотемские церкви похожи на корабли. Над рекой стоят, будто плывут.

Онисим слушал, не шевелясь.

– Летом там хорошо. Река широкая, медленная, вода тёмная, торфяная. Песчаные косы, ивы. Мальчишки удят с берега. Осенью туманы, вот как здесь почти. Утром выйдешь, а реки не видно, только белое. Зимой лёд. Раньше, говорят, по льду ездили на тот берег, теперь мост. А весной ледоход. Это страшно и красиво. Лёд трещит, как пушки стреляют, льдины встают на дыбы. Весь город выходит на берег смотреть.

– Ледоход, – повторил Онисим. Он смотрел в огонь. – А перевоз есть? Паром?

– Был когда-то. Теперь мост. Но старики говорят, что раньше, давным-давно, перевоз был прямо под городом, у Варницкого спуска, где соль варили. Там и сейчас из воды торчат старые сваи, чёрные, как зубы. Гриша любил на них смотреть. Спрашивал, что это. Я сказала, это от старого парома остались. Он спросил, а куда паром делся. Я сказала: утонул, наверное.

Она замолчала. Онисим не отвечал. Ульяна смотрела на его профиль, освещённый огнём, и видела, как у него медленно, едва заметно раздуваются ноздри, будто он принюхивается к чему-то.

– Дёгтем пахнет, – сказал он вдруг. – Чуешь?

Ульяна принюхалась. Пахло сыростью, пылью, тиной. Больше ничем.

– Нет.

– А я чую. – Он нахмурился. – Дёгтем. И солью. И рыбой. Как на пристани. Как будто…

Он не договорил. Тряхнул головой, будто отгонял муху.

– Нету, – сказал он. – Прошло.

Ульяна ничего не сказала. Она запомнила и это. Дёготь, соль, рыба. Варницкий спуск. Старые сваи, торчащие из воды, как чёрные зубы.

– Расскажи ты, – вдруг сказал Онисим. – Про себя. Ты рассказывала про сына. А про себя нет.

– Про себя нечего рассказывать.

– Неправда.

Ульяна усмехнулась.

– Хорошо. Что вам рассказать?

– Что ты делаешь. Там, у себя. В этом… как ты сказала. Хосписе.

– Сижу. – Она пожала плечами. – Сижу с людьми, которые умирают. Меняю им бельё, обрабатываю пролежни, колю обезболивающее. Это работа. Но главное – сижу. Держу за руку. Разговариваю, если они хотят говорить. Молчу, если не хотят. Читаю вслух. Пою.

– Поёшь?

– Если просят. Многие просят. Особенно старики. Им в конце хочется слышать то, что они слышали в начале. Колыбельные. Песни, которые им мама пела. Я их много знаю. Специально учила.

Онисим смотрел на неё с непонятным выражением.

– Спой, – сказал он.

– Что?

– Что-нибудь. Колыбельную.

Ульяна растерялась. Она никогда не пела для того, кто об этом просил вот так, напрямую, глядя ей в глаза. Подопечные просили слабым голосом, на выдохе, или вообще не просили, а она сама понимала. Пела в полутьме, тихо, почти шёпотом. А здесь был здоровый, крупный бородатый мужик, мёртвый триста лет, и он сидел у её огня и смотрел на неё, и ждал.

– Я не… – начала она.

– Пожалуйста, – сказал Онисим.

Ульяна закрыла глаза. Помолчала. Потом запела, негромко, так, как пела всегда:

«Баю-баюшки-баю,

Не ложися на краю.

Придёт серенький волчок,

Он ухватит за бочок…»

Голос у неё был не сильный, но чистый, и в пустой избе он звучал странно, будто впервые за все эти века здесь кто-то пел. Может быть, так и было. Она пела дальше, про волчка, про лесок, про ракитовый кусток, и чувствовала, как слова сами идут, как идут всегда, когда сидишь у постели в три часа ночи и человек под твоей рукой наконец затихает.

Она открыла глаза на последнем куплете и замолчала.

Онисим сидел, закрыв лицо руками.

– Онисим?

Он не ответил. Плечи у него вздрагивали. Ульяна смотрела на него и не знала, что делать. Потом протянула руку и положила ему на спину, между лопаток, так, как клала подопечным. Под ладонью была грубая холщовая рубаха и что-то твёрдое, неподвижное, как дерево. Но плечи вздрагивали.

– Я знаю, – глухо сказал он сквозь пальцы. – Знаю эту. Слышал.

– Многие знают. Это старая колыбельная.

– Нет. – Он отнял руки от лица. Глаза у него были сухие, но красные, будто он долго тёр их. – Не так. Я её слышал. Не мне пели. Я слышал, как поют. Женщина. В избе. Тёмно, лучина горит. Она сидит и поёт. А люльки нету.

– Как нету?

– Нету. – Он сжал кулаки. – Люльки нету, а она поёт. Тихо так. Руки на животе держит. И поёт.

Онисим замолчал, глядя на свои руки, будто в них до сих пор была лучина.

Ульяна почувствовала, как у неё по спине бегут мурашки.

– Она беременная была, – сказала она очень тихо. – Онисим. Она пела ребёнку, который ещё не родился.

Он смотрел на неё, не мигая.

– Кто она? – спросила Ульяна.

– Не знаю.

– Как её звали?

– Не знаю. – Голос у него сорвался. – Не знаю! Вижу, а не знаю! Лицо не вижу. Только руки. На животе. И голос. И лучину. И больше ничего.

Он вскочил, ударился головой о низкий потолок, как она вчера, и не заметил. Отошёл к стене. Стоял там, сгорбившись, спиной к ней.

– Триста лет, – сказал он. – Триста лет ничего не было. А тут ты пришла, и огонь твой, и песня. И полезло.

– Это хорошо, – сказала Ульяна.

– Нет.

– Почему?

– Потому что больно, – сказал он просто.

Ульяна не нашла, что ответить. Она знала, что больно. Знала лучше многих. Когда два года назад к ней впервые после похорон вернулась способность чувствовать что-то, кроме оцепенения, это было похоже на то, как отходит отмороженная рука. Сначала ничего. Потом покалывание. Потом боль, такая, что хочется кричать. И только потом, много позже, тепло.

– Это потому что отходит, – сказала она. – Вы долго были как замороженный. Теперь отходит. Это всегда больно.

– Не хочу.

– Знаю. Никто не хочет.

Он стоял у стены и молчал. Потом медленно повернулся.

– Ты думаешь, это моя? Женщина. Жена?

– Не знаю. Может быть.

– У меня была жена?

– Может быть, – повторила Ульяна. – Я не знаю, Онисим. Это вы должны знать.

– Я не знаю.

– Значит, отдали. Как я отдала дорогу. Вы отдали её.

Онисим смотрел на неё долго. Потом сказал медленно, будто каждое слово давалось с трудом:

– Я искал своё. На полках. Давно. Не нашёл.

– Значит, его там нет. Значит, его взяли. Как моё.

– Он, – сказал Онисим. – Лукьян.

– Может быть.

– И Фролка ему носит.

Ульяна не ответила. Она не хотела отвечать. Онисим понял её молчание правильно и отвернулся.

– Девяносто лет, – сказал он глухо. – Девяносто лет мальчишка у меня на пароме. Я его как своего… – Он запнулся. – Как своего держал. А он…

– Он ребёнок, – сказала Ульяна. – Его обманули. Как меня. Как вас.

– Знаю.

– Не наказывайте его.

– Я не умею наказывать, – сказал Онисим. – Я ничего не умею. Только возить.

Он вернулся к огню и снова сел. Протянул руки. Ладони больше не дрожали.

– Спой ещё, – попросил он.

– Ту же?

– Нет. Другую. Ту больно.

Ульяна подумала и запела другую, совсем простую, про котика, который пошёл в лесок, нашёл там кузовок и принёс его домой. Онисим слушал, закрыв глаза и чуть склонив голову набок, как слушают дальний колокол. Лицо у него было спокойное, почти расслабленное, и впервые за все эти дни он показался Ульяне не старым и не древним, а просто усталым мужиком лет тридцати с небольшим, который наконец присел отдохнуть после тяжёлой работы. Складки у рта разгладились. Ульяна пела и смотрела на него, и думала о том, как странно всё повернулось. Она пришла сюда за сыном, а сидит у огня и поёт колыбельные мёртвому паромщику, которому триста лет. И почему-то это кажется ей правильным. Не хорошим, не нормальным, а правильным. Так, как бывает правильно, когда держишь за руку чужого старика в последнюю ночь.

Она допела. Онисим не открывал глаз.

– Спасибо, – сказал он.

– Не за что.

– Есть за что.

Дверь избы скрипнула. Ульяна обернулась. В дверном проёме, сгибаясь под притолокой и при этом как-то умудряясь не сгибаться вовсе, стояла Старица. Туман, из которого она была соткана, шевелился медленнее обычного, будто она тоже прислушивалась.

– Красиво поёшь, – сказала она Ульяне.

– Спасибо.

– Не благодари. – Старица повернулась к Онисиму. – Перевозчик.

Он открыл глаза.

– Тут я.

– Ты вспоминаешь.

– Немножко.

– У её огня.

– Да.

Старица долго молчала. Туман вокруг неё медленно клубился.

– Это опасно, – сказала она наконец. – Для вас обоих.

– Почему? – спросила Ульяна.

– Потому что огонь твой не бесконечный. Он греет его, но и сам от этого убывает. Ты отдаёшь ему своё тепло, сама того не зная. – Старица помолчала. – И потому что тот, на острове, этого и ждёт.

– Чего ждёт?

– Чтобы перевозчик вспомнил. – Голос Старицы стал совсем тихим. – Когда перевозчик вспомнит, кем был, он перестанет быть перевозчиком. Он станет просто мёртвым. Таким же, как все. И тогда паром останется без хозяина.

– И что тогда?

– Тогда паром возьмёт тот, кто первым возьмётся за шест.

Ульяна посмотрела на Онисима. Он сидел неподвижно, с протянутыми к огню руками, и лицо у него снова было каменное.

– Лукьян, – сказал он.

– Лукьян, – подтвердила Старица. – Он хочет вернуться. Двести лет держал шест, потом бросил, отдал тебе, а теперь хочет назад. Не возить. Ему не нужно возить. Ему нужен паром, чтобы пройти обратной протокой. Туда, к живым.

– Это возможно? – прошептала Ульяна.

– Если у него будет то, чем открывается протока. Память живого о дороге сюда. И перевозчик, который откроет. – Старица повернулась к Ульяне, и Ульяна снова почувствовала на себе тяжёлый холодный взгляд. – Память у него уже есть. Твоя. Перевозчика ещё нет. Но если Онисим вспомнит всё, будет.

Она помолчала и добавила:

– Не пой ему больше. Пока не решишь, чего ты хочешь.

И растворилась в дверном проёме, как растворяется пар.

Ульяна сидела у огня, и огонь был с четверть ладони, может быть, чуть меньше. Онисим сидел рядом. Они не смотрели друг на друга.

– Я не буду вспоминать, – сказал он наконец.

– Вы не можете не вспоминать. Это не от вас зависит.

– Тогда уйду. Не буду сидеть у огня.

Он встал. Ульяна поймала его за рукав.

– Подождите.

Он остановился.

– Вы сказали «больно», – сказала она. – Вы сказали «не хочу». Но вы же хотите. Я видела. Вы хотите знать, кто она. Женщина с лучиной.

Онисим не ответил. Он стоял, пригнувшись под низким потолком, с её рукой на своём рукаве.

– Я хочу, – сказал он наконец. – Хочу. И нельзя.

– Почему нельзя?

– Потому что тогда он придёт. За шестом. За тобой. – Онисим осторожно высвободил рукав. – Я тебя довезу. Обещаю. Сначала довезу, потом буду вспоминать.

Он вышел. Ульяна осталась одна у огня. За дверью было слышно, как он идёт по мосткам к парому, тяжело, медленно.

Она поднялась и подошла к двери. Паром стоял у мостков, тёмный, неподвижный, и на корме, у будки, сидел Онисим. В руке у него что-то блеснуло. Нож. Он наклонился к доске и медленно, с силой провёл по ней лезвием. Зарубка, поняла Ульяна. Он делает зарубку. Переправы сегодня не было, но он всё равно делал зарубку, потому что так было триста лет и потому что больше ему держаться было не за что.

Фролки на пароме не было. На отмели тоже. Ульяна посмотрела вниз по течению, туда, где вчера мелькала маленькая фигурка с огоньком под рубахой. Там было темно и пусто.

Она вернулась к огню.

Она смотрела на огонь и думала о женщине с лучиной, которая сидела в тёмной избе и пела колыбельную ребёнку, которого ещё не было. И о том, что Онисим не знает её имени.

А потом она подумала о том, что сама она тоже пела колыбельные. Гришке. До самого конца. И что, если она выпьет воду из ковша, никто на всём свете больше не вспомнит, как она их пела.

Глава 10. Фролка

Фролка пришёл, когда туман начал светлеть.

Ульяна не спала. Она сидела у огня, обхватив колени, и смотрела, как он горит. Огонь стал ещё меньше за ночь, теперь он был не с четверть ладони, а с ноготь большого пальца, может, чуть больше. Он горел ровно, не мигая, но Ульяна видела, как тонко у основания, где пламя касалось голого пола. Тоньше, чем вчера. Четыре ночи, подумала она. Четвёртые сутки там. Она представила себе цифры на мониторе у своей кровати и не смогла представить. Она не знала, какие там цифры. Она знала только, что огонь с ноготь.

Дверь тихо приоткрылась. В щель просунулась белая вихрастая голова.

– Тётенька Ульяна, – прошептал Фролка. – Можно?

– Заходи.

Он вошёл боком, как входят провинившиеся дети, и остановился у порога. Рубаха на нём была мокрая, на груди и на животе, будто он прижимал к себе что-то, с чего текло. Ноги до колен были в чёрном, в той густой тёмной воде, что внизу, у острова. Он увидел, что Ульяна смотрит на его ноги, и попытался спрятать одну за другую.

– Садись, – сказала Ульяна. – К огню.

Он подошёл, сел на корточки, протянул руки. Ладони у него были маленькие, бледные, с обкусанными ногтями.

– Он маленький стал, – сказал Фролка, глядя на огонь.

– Да.

– Это из-за дядьки. Старица сказала. Он у вас греется, и огонь убывает.

– Не только из-за него. Он и сам убывает. Каждую ночь.

– А если погаснет?

– Тогда я умру. Там. И приду сюда, как все.

Фролка помолчал.

– Тогда вы останетесь, – сказал он тихо. – Здесь. С нами.

– Ненадолго. Пока не выпью воду.

– А если не выпьете? Как Аристарх Филиппович? Как я?

Ульяна посмотрела на него. Он не поднимал глаз от огня, но спрашивал всерьёз. Будто это был не просто вопрос, а предложение.

– Ты хочешь, чтобы я осталась?

– Не знаю, – сказал Фролка. – С вами хорошо. Вы тёплая. Вы песни поёте. Я слышал ночью. Под дверью сидел.

– Я думала, ты убежал.

– Сначала убежал. Потом вернулся. – Он шмыгнул носом. – Мама тоже пела. Не эту. Другую. Про синичку.

Ульяна осторожно спросила:

– Расскажешь про маму?

Фролка долго молчал. Потом сказал, всё так же глядя в огонь:

– Её Пелагеей звали. Палашей. Она была высокая. Выше всех баб в деревне. И рыжая. Не как Тамара, а по-настоящему, как огонь, как этот. Её за это ведьмой дразнили, а она смеялась. Говорила: «Была бы ведьма, давно бы вас всех в лягушек обратила». Мы в Заречье жили. Это под Тотьмой, на той стороне Сухоны. Тятька помер, когда мне шесть было. На сплаве. Его бревном придавило. Мы с мамкой остались одни. И ещё корова, Пеструха, и куры. Мамка ткала, на продажу. Я ей помогал. Нитки сматывал. Я сильный был.

Он сказал это с гордостью, и Ульяна улыбнулась.

– Верю.

– В ту весну она заболела. В марте. Горячка. Лежала на печи и горела вся, как печка. Я ей воду носил, тряпки мочил. Соседка, бабка Агафья, травы варила. Не помогло. В апреле совсем плохо стало. Она меня не узнавала. Звала тятьку. Бабка Агафья сказала: надо фельдшера, в город, иначе помрёт. А как в город? Через реку. Лёд уже стоял плохой, апрель ведь. Мужики сказали, не пройти, ждать надо, пока ледоход. А ледоход, может, через неделю. Мамка бы не дождалась.

Он замолчал. Ульяна не торопила.

– Я пошёл, – сказал Фролка. – Ночью. Никому не сказал. Только мамке. Она на минутку очнулась, когда я одевался. Посмотрела на меня. Узнала. Говорит: «Ты куда, Фролушка?» Я говорю: «За фельдшером, мам. Ты лежи». А она говорит: «Беги. Я тебя дождусь». И глаза закрыла.

Он сказал «я тебя дождусь» голосом, который не был похож на его собственный: низким, хриплым, ласковым. Ульяна поняла, что он повторяет интонацию. Девяносто лет он помнил, как это было сказано.

– Я по льду пошёл. Тёмно было, только луна. Лёд серый, мокрый, вода поверху. Я по вешкам шёл, которые зимой ставили, где дорога. Почти до середины дошёл. А там треснуло. Подо мной. Я даже не испугался. Только вода холодная. Очень. Я тогда последний раз холод чуял. Так холодно было, что больше никогда не было.

– А потом?

– А потом тут. На отмели. Сижу на песке, мокрый, и не холодно совсем. Дядька Онисим подходит, говорит: «Пойдём, малец, отвезу». А я говорю: «Нет. Мне мамку дождаться надо. Она обещала». Он посмотрел на меня и ушёл. Больше не звал.

– Девяносто лет, – тихо сказала Ульяна.

– Девяносто два года будет весной. – Фролка поднял на неё глаза. – Аристарх Филиппович посчитал.

– И ты каждого смотрел.

– Каждого. Сначала сидел на мостках и смотрел, кто идёт. Потом дядька меня к себе взял, на паром. Говорит: раз сидишь, хоть помогай. Я и стал помогать. Встречаю, сажаю, мостки таскаю. Так удобнее смотреть. Все мимо меня проходят.

– И она не прошла.

– Нет.

Ульяна думала. Пелагея. Рыжая, высокая. Если она умерла той весной, от горячки, через несколько дней после сына, она должна была прийти сюда. Сразу. Сюда, где сидел на мостках её мальчик. Как она могла пройти мимо? А если не умерла? Если выжила, дождалась фельдшера, которого привёл кто-то другой, или выздоровела сама? Тогда она прожила ещё много лет. Может быть, вышла снова замуж. Может быть, родила других детей. И умерла уже старухой, седой, сгорбленной, совсем не похожей на ту рыжую, которую помнил Фролка. И прошла мимо. А он смотрел на каждую, кто проходил, и искал рыжую высокую. И не узнал.

Она не сказала этого вслух. Она не могла.

– Фролка, – сказала она вместо этого. – А может быть, она выздоровела? Может быть, она дождалась тебя дома? Она сказала «я тебя дождусь». Может быть, она имела в виду дома?

Фролка замер.

– Дома? – переспросил он.

– Ну да. Ты пошёл за фельдшером. Она сказала, что дождётся, пока ты вернёшься. Дома.

Он смотрел на неё долго, не мигая. Потом медленно покачал головой.

– Нет, – сказал он. – Она тут. Она меня ждёт. Тут.

– Откуда ты знаешь?

– Знаю.

– Фролка.

– Знаю! – Он вскочил на ноги. – Я её видел!

Ульяна тоже поднялась, медленно, чтобы не спугнуть.

– Где ты её видел?

Фролка открыл рот, закрыл. Глаза у него метались, как у пойманного зверька.

– На острове, – сказал он наконец, шёпотом. – В окне.

– Расскажи.

– Не могу.

– Можешь. Я не буду ругать. Обещаю.

Он долго молчал. Потом снова опустился на корточки у огня, сжался, обхватил себя руками. Ульяна села рядом. Не касаясь его, просто рядом.

– Я тогда маленький был, – сказал Фролка. – Ну, я и сейчас маленький. Но тогда я совсем недавно тут был. Год, может. Или два. Я по берегу бегал, ночью, искал её. Думал, может, она не на мостки пришла, а куда-нибудь в другое место. Бегал вверх, бегал вниз. Вниз далеко забежал. Туда, где вода тёмная. И там он меня встретил.

– Лукьян?

Фролка кивнул.

– Он из тумана вышел, с фонарём. Я испугался, хотел убежать. А он говорит: «Не бойся, Фролушка. Я тебя знаю. Я твою мамку знаю». Я остановился. Он говорит: «Она у меня. На острове. Она тебя ждёт». Я говорю: «Почему она тогда не пришла на мостки?» А он говорит: «Потому что она воду не стала пить. Выплюнула. Чтобы тебя не забыть. А кто выплюнул, тот на мостки ходить не может. Только на остров».

Ульяна слушала, и холод внутри неё становился всё глубже.

– Я спросил, можно к ней? Он сказал, можно, но не сейчас. Сначала надо сделать кое-что. Для неё. Она, говорит, слабая. Кто воду выплюнул, тот слабеет, если не держится за что-нибудь. За память. Ей нужна память, чтобы держаться. Чтобы не растаять. Своей у неё мало, она почти всё в короб отдала. Ей нужна чужая.

– И он попросил тебя носить памятки.

Фролка заплакал. Беззвучно, не всхлипывая, просто по щекам потекли слёзы.

– Он сказал, по одной. Только по одной. Дядька не заметит. Там их много. Тысячи. Одну возьмёшь, никто не хватится. И каждый раз, сказал, она будет крепче. И когда станет совсем крепкая, она сможет прийти ко мне. Или я к ней.

– И ты носил.

– Носил. – Он вытер лицо рукавом. – Короб я открыть не могу. А Кладовую могу. Люк не заперт. Дядька ночью на пароме сидит, спиной к люку, на воду смотрит. Он не слышит. Я тихо.

– А мамку? Ты её видел?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.